



МИХАИЛ КРИВИЧ

*Бюст
на родине героя*

Михаил Кривич

Бюст на родине героя

pdf

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=56449040

Михаил Кривич Бюст на родине героя:

ISBN 978-5-6043277-4-6

Аннотация

Михаил Кривич – журналист и прозаик, писатель-фантаст. Действие его остросюжетного романа «Бюст на родине героя» разворачивается в самом начале «лихих девяностых» в Москве, Нью-Йорке и провинциальном промышленном Энске.

Впервые оказавшись за рубежом, успешный столичный журналист невольно попадает в эпицентр криминальных разборок вокруг торговли нефтепродуктами. В советские годы он сделал себе имя прославлением «передовиков производства», главным персонажем его очерков в те годы был знатный сборщик шин Степан Крутых. Журналист приезжает в Энск, чтобы вновь встретиться со своим героем, ищет и находит его.

Книга содержит нецензурную брань

Содержание

В рамке расколотого времени	5
Часть первая	9
Глава 1	10
Глава 2	38
Глава 3	56
Глава 4	95
Глава 5	124
Глава 6	140
Конец ознакомительного фрагмента.	146

Михаил Кривич

Бюст на родине героя

На переплете – картина Владимира Любарова «Снеговик».

© М. Кривич, текст, 2020

© В. Любаров, «Снеговик», 2020

© Оформление, ИП Жарков Андрей Андреевич, 2020

* * *

В рамке расколотого времени

В лихом своем романе журналист Михаил Гуревич, скрывшийся от читателя под псевдонимом Кривич, заставил не просто сопереживать главному герою, временами подозрительно похожему на автора. Роман написан в середине 90-х, и приметы времени не перепутать ни с чем, персонажи – тоже; ни до, ни после таких не было и больше, убежден, уже и не будет. Это люди, навсегда ударенные своим социалистическим прошлым, не забывшие его уроков, не простившие этому прошлому ничего, а с другой стороны – ничему другому, новому, не успевшие толком научиться. Зато пытающиеся безуспешно применить оказавшийся никому не нужным уникальный опыт выживания в нечеловеческих условиях.

Получается – не у всех, ой, не у всех... И будь ты хоть дважды Героем Соцтруда, будь бюст твой установлен за зданием партийного комитета родного города, будь ты в виде исключения при таких регалиях действительно хорошим человеком, – ничто из этого не мешает тебе оказаться за бортом жизни, спиться, погибнуть, оказаться так быстро – забытым.

Впрочем, не все, некоторые вполне успешно устроились и при «новом режиме». Те же, например, сотрудники «конторы глубокого бурения», не потерялись, хорошо пристроились, процветают. Но – терпеливо ждут, когда будут призваны к любимому делу снова, к делу, к которому, как пионеры,

всегда готовы. И при первом же сигнале боевой трубы они встанут в строй, в чем мы, читатели, в полной мере убедились уже лет через пять после того, как автор поставил в своем романе последнюю точку. Отдадим же автору, предсказавшему именно такой поворот истории, должное, снимем перед его даром предвидения шляпу...

Отдам же должное лихости, как я уже сказал, сюжета, связавшего вроде бы совершенно несовместимых под одной обложкой людей – журналистов и этих самых бывших кагэбэшников, официанток и мацераторов (я, признаюсь, слова не знал, пусть уж и читатель залезет в словарь, не все ему барствовать), ветеранов Афганской войны, женщин с пониженной социальной ответственностью, бывших цеховиков, нашедших себя в Америке (как раз в то время ставших головной болью для американской полиции), провинциальных работяг с когда-то передового завода, сильно пьющих и не пьющих вовсе...

Кстати сказать, я долго пытался угадать, с кого Кривич писал портрет города Энска, какие-то детали узнавались, да и как им было не узнать – по одним командировкам мотались, в одних гостиницах столько лет останавливались... А блистательно выстроенный ранжир автомобилей, которые высылались встречать в аэропорт «тружеников пера» в зависимости от заслуг встречаемого!.. А меню ужина, который устроил гендиректор завода!.. А сам гендиректор, который вдруг встал и пошел из-за стола, не оборачиваясь, потому

что твердо знал: все уже встали и потянулись за ним...

В этом смысле «американская» глава произвела на меня значительно меньшее впечатление, своей ожидаемостью, что ли... Чувствуется, что в Нью-Йорке автор бывал, в географии города не путается, но конечно же – не Энск, не Москва, где автору осведомленность доказывать не надо, здесь он в доску свой и это на просвет страницы – заметно. Здесь детали быта входят в текст естественно и непринужденно, а от того так заставляют радостно вздрагивать своей узнаваемостью...

Я намеренно не касаюсь сюжета романа, который третий раз завистливо назову лихим и даже – разнузданным. Не буду лишать читателя удовольствия от соучастия в его раскрутке.

Скажу только, что все кончится – хорошо.

Павел Гутионтов

*Отрывки из песен Вилли Токарева цитируются
по магнитофонным записям*

*Все персонажи и события этой книги целиком и
полностью придуманы, хотя на то не было никакой
надобности*

*Автор признателен своим друзьям и близким,
которые читали это в рукописи и говорили все, что
о ней думают*

Часть первая

Нью-Йорк

1990, октябрь

Глава 1

Кто не успел – тот опоздал. Так, кажется, нынче говорят. Звучит по-идиотски, но по сути верно. Ничего и никогда не откладывайте на потом, будь то обучение игре в бридж или поездка в Париж, Афины, даже Саранск. При бесконечных отсрочках одни ваши планы так никогда и не будут выполнены, другие же, осуществившись, не принесут вам ожидаемой радости.

Отложил на неопределенный срок – и никогда уже не овладеешь восточными боевыми искусствами, не выучишь санскрит, не познаешь ласк тайландской девушки-цветка, а будешь, пока есть охота, тискать в пыльном учрежденческом коридоре старшего экономиста Алевтину из планового отдела. Заленишься, проваландаешься – выкинь из головы мечту написать роман-эпопею в трех томах, знай строчи себе ради грошового заработка и столь же ничтожной известности очерочки для молодежных газет и статейки в научно-популярные журналы. Не успел в свой срок съездить в Париж – не сможешь ночь напролет бродить по бульварам: еще до полуночи доползешь, кряхтя, до отельной койки и начхать тебе будет на ножки и прочие соблазнительные части парижанок – свои бы ноги вытянуть. Даже в Саранск в наши дни недолго опоздать – только соберешься, а там уже ввели визовый режим.

Мне было уже сильно за сорок, когда я наконец осознал эти нехитрые истины, трезво рассудил, что многое мне уже в силу возраста не успеть, и решил не опаздывать там, где еще не опоздал. Короче, я подкопил денег и собрался в Америку – по частному приглашению.

– Поздравляю, вот и у вас родственнички за океаном объявились, – сказал, просматривая мою выездную анкету, кадровик Владлен Максимович, гэбэшный отставник и известнейшая издательская сволочь. – Да вы, голубчик, не смущайтесь. Нынче у каждого второго родственники за границей. Теперь это можно.

– У меня не родственники, а друзья. И я никогда их не скрывал, – независимо ответил я и отодвинулся, потому что Владлен сделал попытку успокаивающе полубонять меня за плечи.

– Друзья так друзья. Ваши проблемы. Мое дело анкетку заверить. И заверю, как только соберете подписи треугольника. Больше ничего и не надо. И в райком идти не надо. Видите, как просто... – последнее он произнес с явным сожалением.

Я шустро, за день, собрал треугольные подписи, а Владлен сдержал слово – поставил свой автограф и приклепнул его печатью. Я выстоял очередь в ОВИРе, добрый месяц ходил на переключки у американского посольства, заполнил анкету, для чего мне пришлось несколько минут изучать себя в зеркале – никогда прежде не задумывался, какого цвета у

меня кожа, глаза и волосы. С кожей все оказалось просто: речь шла о расе, я со всей очевидностью белый, стало быть, и кожа белая. Глаза же у меня какого-то мутно-болотного цвета, а волос осталось так мало, что говорить о их масти — людей смешить. Посоветовавшись с приятелями, я назначил себя сероглазым шатеном, что, как оказалось, ни у кого интереса, а тем более возражений не вызвало. Зато прыщавая американская девица, пытливо глядя мне в глаза из консульского окошечка, строго спрашивала, не занимал ли я выборных должностей в профсоюзе, есть ли у меня любовница, а если есть, живем мы с ней вместе или порознь, и чем это я собираюсь заниматься целый месяц в Америке, чьи интересы она, девица, здесь представляет.

Честно говоря, тогда я не ведал, во что выльется моя поездка и в какие передраги мне предстоит попасть, а полагал, что буду гулять по улицам, пялиться, задрав голову, на небоскребы, ходить в знаменитые музеи, наслаждаться видами, пить с Шуркой водку в свое удовольствие (как он выражался, в особо крупных размерах) и всласть закусывать — дом, в который я ехал, был на редкость хлебосольным и в Москве, где с закуской особенно не разгуляешься, а все разносолы добывались до недавнего времени, что называется, с боем. Я так и сказал девице: еду погулять, отдохнуть и развлечься. Она почему-то недоверчиво хмыкнула, но визу я получил.

И вот у меня в руке зажат билет, да не голубенькая бумажонка, с которой долетишь разве что до Питера или Екате-

ринбурга, а целая книжечка, даром что «Аэрофлот»; с такими точно билетами-книжечками летают во все концы света, летают бизнесмены, высокопоставленные чиновники, знаменитые писатели и актеры, одним словом, випы. И у меня точно такая. И я, зажав ее в руке, стою в международном аэропорту Шереметьево-2.

Ах, Шереметьево, Шереметьево, Шереметьево-два!.. Ворота в свободный мир!

Еще совсем недавно они были закрыты для меня наглухо. Я приезжал к этим воротам, чтобы проводить близких мне людей и попрощаться с ними навсегда. Стоял в толпе хмурых мужчин и женщин с красными от слез и бессонной ночи глазами, курил сигарету за сигаретой, незаметно бросая бычки под ноги. Говорить было уже не о чем, и мы просто смотрели друг на друга. А мимо шныряли носильщики, какие-то люди в военной форме, холеные девицы в аэрофлотовских одеждах, подозрительные личности с острыми глазами и растопыренными – чтоб лучше слышать – ушами. Говорят, провожающих зачем-то незаметно фотографировали. И от одной мысли об этом становилось холодно и жутко. Потом отъезжающие попадали в руки таможенников, серых, безликих, бесцветных, будто выдержанных в моче. Из тощих – их называли тогда еврейскими – чемоданов извлекался жалкий скарб, мелькало нижнее белье, вспарывались подушки, откладывались в сторону бесценные предметы народного искусства, наше национальное достояние, – грошо-

вые матрешки, палехские коробочки. Молодой таможенник сладострастно выдавливал краски из тюбиков, а их владелец, щедушный, заросший курчавым волосом художник, замороженно глядел на эту сцену печальными семитскими глазами и чуть раскачивался, словно в своей древней молитве. Какую-то волоокую матрону уводили на гинекологический досмотр, и нам никогда уже было не узнать его результаты: то ли она и впрямь столь изощренным способом вывозила из страны драгоценности, то ли ошибка вышла, и в ее интимных местах ничего предосудительного так и не обнаружили.

Наконец шмон заканчивался. Стихал шум и гвалт, и те, кого мы провожали, пятясь, удалялись от нас, отчаянно жестикулируя, что-то выкрикивая на ходу. Мы еще видели слезы на их глазах, но наши глаза тоже были застланы слезами, а фигуры отъезжающих уменьшались и уменьшались. Потом они поворачивались к нам спиной, упирались в какой-то новый барьер, преодолевали его и скрывались от нас навеки.

Это было место печали и скорби, место разлуки, место последнего «прости». Серое здание аэропорта, такое же серое и мрачное, как крематорий на Донском. И возвращались мы из Шереметьева будто с похорон: с теми, кто прошел таможенный контроль, больше не свидеться на этом свете, как не свидеться с теми, за кем под звуки органа сомкнулись жуткие створки.

И все-таки меня тянуло сюда.

Ах, Шереметьево, Шереметьево, Шереметьево-два!..

Крутой подъем автомобильной дорожки под указатель «Вылет» — кажется, прибавь газу и взлетишь на своем дряхлом «москвиче»; двери, которые сами собой разъезжаются перед твоим носом и, впустив тебя, затворяются за спиной; мелодичные звоночки перед каждым объявлением по аэропорту, да и сами объявления — с манящими названиями далеких городов и стран... Иногда я приезжал в международный аэропорт безо всякого дела — просто постоять и поглазеть, как уезжают другие, выпить чашечку кофе в буфете, купить банку пива или пачку сигарет. Так, должно быть, сухопутные жители приморского города приходят в порт и смотрят на уходящие в море суда. У них нет надежды когда-нибудь отплыть в дальние страны, да и делать им там нечего — что они там забыли? — а вот приходят и смотрят.

Я никогда не хотел уехать из своего города, но остро, до изжоги, завидовал улетающим. Даже затюканным провинциальным еврейским семьям с узлами, ревущими младенцами и горшками. Даже собакам в намордниках, которые через полчаса — час уйдут за таможеню, за паспортный контроль, а потом во мраке и тесноте багажного отделения, до смерти перепуганные, скулящие от потерянности и страха, полетят туда, где мне никогда не бывать.

Но вот невозможное оказалось возможным, и пришел мой черед лететь в дальние страны. Я стою в недлинной очереди на таможенный досмотр и время от времени подталкиваю перед собой тележку с багажом. Не для кого-то, а для меня

звучит мелодичный звоночек, мне, а не кому-нибудь ласковый девичий голос напоминает о том, что продолжается регистрация рейса номер триста восемнадцать Москва – Нью-Йорк. Я лечу в Америку! На душе легко и радостно. И маячащие за чужими головами и барьером таможенники уже не кажутся, как прежде, монстрами. Обыкновенные мужчины и женщины, простые советские трудяги, они делают свое, нужное моей стране дело.

Однако с приближением к таможенному посту меня охватывает легкое беспокойство. Я не безгрешен, у меня четыре, если можно так выразиться, уязвимые точки: рассованные по карманам баночки с икрой – сверх разрешенных, которые покоятся в багаже; лишняя (да разве может она быть лишней!) поллитруха водки – авось пронесет, а не пронесет, скажу, что не знал; заначенная, сложенная до размера почтовой марки двадцатидолларовая бумажка – это помимо законно обмененных после месячной очереди в банке денег; и наконец, подстаканник, который Шуркина теща попросила меня взять с собою для любимой дочери – клялась и божилась, что подстаканник мельхиоровый, но сама, старая, конечно же толком не знает, может оказаться и серебряным.

Ну вот я вкатываю тележку за таможенную ограду, впереди меня пожилая пара, их уже шмонают. Я смотрю на таможенника. Моего возраста грузноватый мужик – мышинового цвета мундир ему тесен, лицо интеллигентное, пожалуй, даже доброе. Нет, вполне определенно похож на человека. Не

то что те, прежние. Тех, должно быть, уже давно сменили. Он даже не предлагает паре раскрыть чемоданы, только поглядывает на экран своего телевизора, потом что-то подписывает, штампует – проходите...

Теперь мой черед. Я суетливо снимаю с тележки битком набитые сумки с подарками, ставлю их одну за другой на ленту конвейера, подхожу к человеку в мышинной форме и кладу перед ним свои бумаги. ОН ИХ просматривает. Я переминаюсь с ноги на ногу, ощущая позорное желание сказать ему что-то приятное, ну о погоде, скажем.

– Ваши деньги, пожалуйста.

Я вытаскиваю бумажник и достаю жиденькую пачку долларов. Он бросает на нее взгляд, мне чудится, насмешливый, но деньги не пересчитывает, даже не берет в руки.

– Это все?

– Все, – отчаянно вру я и ощущаю приливающую к щекам кровь.

Но он смотрит не на меня, а на экран своего телевизора, где высвечены потроха моей сумки. Пол-экрана занимает казан для плова, видны очертания матрешек, корешки книг – я везу Шурке целую библиотеку. А вот и горлышки бутылок. Только слепой не увидит, что их три, а не две. Он же, словно ничего не замечая, нажимает на кнопку конвейера, и на экране появляется моя вторая сумка.

– Это что у вас, подстаканник?

– Совершенно верно, подстаканник, – неуправляемым,

каким-то льстивым тоном подтверждаю я, а сам думаю: не пропустит, так не пропустит, а я не обязан знать, серебряный или золотой, и не те нынче времена, ничего мне за это не будет...

– Серебро?

– Нет, кажется, мельхиор.

Но он уже потерял интерес к подстаканнику и, повернувшись к своей конторке, стал размашисто черкать авторучкой по моей таможенной декларации. Пронесло, выдохнул я и расправил плечи. При этом в моих карманах предательски звякнули контрабандные баночки с кавьяром, но я знал – пронесло. Потерявший ко мне всяческий интерес таможенник протянул мне паспорт, авиабилет и декларацию и сказал:

– Забирайте вещи.

Я принялся громоздить на тележку сумки и тут увидел лежащую за мной в проходе картонную коробку. Идиот! За своими совковыми страхами перед таможенной я забыл о Шуркином поручении.

– Бога ради, простите... – Я с отвращением почувствовал, что в голосе моем вновь появились угодливые нотки. – Извините, я тут забыл... У меня еще одно место...

– Ну так чего же вы? Ставьте.

Я торопливо подхватываю длинную, в человеческий рост, коробку – странно, она почти ничего не весит. Кладу ее на ленту, втискиваю конец в черное чрево просвечивающего аппарата. Таможенник со скучающим выражением нажима-

ет на кнопку, лента ползет, коробка исчезает. Я распрямляюсь и смотрю на таможенника. На его лице служебная скука мгновенно сменяется изумлением, даже испугом.

Я перевожу взгляд на экран телевизора. На экране – человеческий скелет.

Уж не помню, сколько лет, но никак не меньше двадцати, я раз в неделю хожу с компанией друзей в баню. Поначалу выбирались, предварительно сговорившись, то в Сандуны, то в Центральные, а то и в баньки поскромнее – Ямские, Кадаши, Селезневские, Черныши. Мы были молодыми, легкими на подъем, подобно туристам-странникам не нуждались в постоянном пристанище, прекрасно себя чувствовали среди чужих голых мужиков – был бы пар покрепче. Однако с годами привычки у людей меняются. Потянуло нас на уют и комфорт, захотелось греть свои тела не прилюдно, а среди своих, в узком кругу. Тут как раз по Москве стали плодиться сауны, и мы променяли русскую парную с веником на сухой финский жар.

По правде говоря, дело было вовсе не в паре и жаре. Мы и в сауне, когда хотели, устраивали настоящую русскую парную и хлестали друг друга березой до малинового цвета. Все дело в общении, в дружеской, клубной обстановке, которая невозможна в горкомхозовской бане, обстановке, которая, как классический театр, требует единства места и времени, известного комфорта, отсутствия чужих глаз. Поплутав из

сауны в сауну, мы нашли то, в чем нуждались. Ничего особенного, но достаточно чисто, хотя время от времени отмечались тараканы. Просторно: можно, не наступая друг другу на ноги, скинуть исподнее, есть место для чаепития с самоваром – мы его окрестили ленинской комнатой, есть вместительный бассейн-окунальник, куда можно распаренным плюхнуться вниз головой и сделать два-три гребка до противоположного борта, визжа от обжигающей ледяной воды. И, что немаловажно, свой в доску хозяин сауны, официально, конечно, не хозяин, не владелец, но распоряжающийся всеми ее благами как собственными. Что-то мы платили в кассу, а львиную долю ему, Федору Федоровичу, в лапу. За что и получали постоянное время, покой и комфорт, включающий чистые простыни и раскаленную к нашему приходу, остро пахнущую сосновой доской и эвкалиптом жарилку.

Были у нас в компании мужики, которые за несколько часов нашего банного времени делали десяток заходов в двадцатиградусный жар (больше заходов – ниже себестоимость, так сказать, азы политэкономии социализма), но были и такие, кто приходил сюда вовсе не ради сауны, а ради трепа, дружеского общения в ленкомнате. Чего только не слышали ее обшарпанные дощатые стены: и соленых мужских анекдотов, и махровой антисоветчины, и анализа текущих политических событий, и про баб, само собой. Тут мы обсуждали состояние здоровья очередного дряхлого вождя нации и прогнозировали его преемника, кляли за рюмкой вод-

ки противоалкогольную кампанию, судили-рядили о шансах «Спартака», судачили о биоэнергетике, обменивались ови-ровскими сплетнями — кто подал документы на историческую родину, кому отказали, кто получил разрешение. Время от времени разрешение получал один из наших, он накрывал стол для всей честной компании, и мы, завернувшись в простыни, выпивали и сладко закусывали, подымали тосты за отъезжающего, дарили ему прощальные подарки.

Эта банная компания, мой ближний круг, который неудержимо сужался от прощаний в Шереметьеве-два, была неоднородной по национальному и социальному составу. Русские, евреи, украинцы, армяне, татары, затесались даже (правда, по одному) чеченец, караим и мадьяр — ну полный тебе интернационал; технари и гуманитарии, ученые люди, застенчиво носившие кандидатские степени, и неученый, но интеллигентней любого кандидата автослесарь, актер и торго-гаши, сделавшие не одну ходку в зону по делам хозяйственным, журналисты и фотографы, школьный учитель и ювелир, милейший парень, отмалчивавшийся, когда его спрашивали о профессии, и художники, живой писатель-классик и партийный работник. Последний — это и есть Александр Тимофеевич Сидорский, уже представленный читателю как Шурка.

В неписаном уставе нашей бани был ключевой пункт: есть всего лишь три уважительные причины отсутствия в сауне в банный день — отпуск, командировка и смерть. Возмож-

ная посадка (от тюрьмы и от сумы не зарекайся) приравнивалась к отпуску и тоже считалась причиной уважительной. Домашние обстоятельства, недомогание и свидание с дамой – нет. Конечно, наш устав, как и все прочие уставы, нарушался. Кто-то исчезал – на время или навсегда, кто-то приводил и рекомендовал новенького, и его после испытательного срока принимали. Состав клуба менялся. Оставалось неизменным его ядро, политбюро, как мы его называли, в которое входили человек семь, в том числе я и Шурка, причем Шурка был в политбюро, бесспорно, первым человеком: он собирал деньги на подарки к дням рождения и для расчета с Федором Федоровичем, он вел переговоры с последним, он «лечил» сауну, когда в ней от десятка распаренных мужских тел становилось влажно, отчего по законам физики падала температура и пропадал жар, он, наконец, священнодействовал с заварным чайником.

В общем, был Шурка непререкаемым авторитетом и общепризнанным старостой барака. Сочетание последнего почетного звания с должностью члена политбюро несколько эклектично, но мы жили, работали и ходили в баню в условиях развитого социализма, когда не удивляли и более причудливые сочетания.

Шурка – единственный из моих друзей детства, кого я не потерял, кого сохранил до своего перзрелого возраста. Остальные куда-то исчезли, пропали, растворились, сохранились в памяти только по школьным фотографиям. Он за-

нимает в моей жизни особое место, ему же принадлежит важная роль в событиях, о которых я намерен здесь рассказать, поэтому его краткая биография будет никак не лишней.

В школе он был бойким малым. Учился хорошо. Но хорошо и безобразничал, был первым во всех хулиганских проделках и драках. Его отец, крупный министерский чиновник в сером костюме, и благоухающая «Красной Москвой» мать в чернобурке каждую неделю объяснялись с завучем и классной руководительницей. К старшим классам Шурка образумился: он по-прежнему отлично успевал по всем предметам, но добровольно отказался от роли лидера в мальчишеских безобразиях. Он стал ходить в секцию тяжелой атлетики, на уроках аккуратно заполнял тренировочный дневник – сколько центнеров поднял на последнем занятии и сколько поднимет на следующем. Шурка не получил золотой медали из-за одной-единственной четверки, но на следующий день после выпускного вечера, с которого ушел трезвым и раньше всех, выполнил норму мастера спорта.

От поднятия тяжестей или просто по Божьей воле он лет в четырнадцать перестал расти и остался таким бычком – крепышом-коротышкой с неохватными бицепсами. На короткой могучей шее сидела украшенная львиной гривой голова античного героя. Несмотря на неудавшийся рост он был на редкость импозантен и пользовался успехом у школьных дев.

Ему легко давались науки, он был упорен и честолюбив

– ему прочили большое будущее. Но он почему-то поступил в какой-то невзрачный технический вуз, после которого распределился в столь же невзрачный НИИ, где, впрочем, в очень короткий срок первым из однокашников защитил кандидатскую. В это же время Шурка женился на черноокой де-белой Рите, на голову выше его ростом, а она, не откладывая дела в долгий ящик, родила мальчишек-близнецов. На этом заканчивается первая часть Шуркиной биографии.

Какое-то время после рождения близнецов я редко видел Шурку, больше перезванивался с ним. Однажды он сообщил мне по телефону, что покончил с наукой-техникой, от которой ему ни радости, ни денег, а кормить семью надо, и он теперь на комсомольской работе, служит инструктором райкома, дело веселое, живое, среди людей, и к тому же всякие житейские блага. Прошло еще время, и мы стали видеться по крайней мере раз в неделю – в нашей жизни наступила банная пора. Шурка приходил в баню веселый, самую малость выпивши, неизменно в строгом костюме, белой рубашке и галстукe красных тонов, с шутками и прибаутками раздевался, обнажая бурую медвежью шерсть на груди и роскошную мускулатуру – штангу он давно забросил, но форму поддерживал. В общей парилке он выделялся среди прочего голого люда физической мощью, уверенностью и напористостью. Ему без разговоров предоставляли почетное право поддать, когда надо, жару – он покрикивал, приказывал всем пригнуться, а сам короткими волосатыми ручищами подки-

дывал из шайки в раскаленную каменку. Мужики в банях попадаются отчаянные, но никто не спорил, когда Шурка приказывал очистить парную, если решал, что пришло время ее «подлечить». А потом мы, распаренные, отдыхали в раздевалке и слушали, разинув рты, райкомовские байки – про веселые гулянки с девчонками из общего отдела, про поездки на загородные семинары и прочие лихие молодежные забавы, которыми жил в те годы славный ленинский комсомол.

Мы становились старше, у всех появились семьи, строились и незадавались карьеры, мы посолиднели и перебрались в сауну. Шурка немного погрузнел и основательно посерьезнел. Он закончил какое-то партийное учебное заведение – университет марксизма-ленинизма, а то и саму ВПШ, преподавал историю партии в трамвайном техникуме, повкалывал научным сотрудником музея революции, за что в то время получил от нас прозвище Плачущий Большевик, и оказался вновь в райкоме, но теперь уже не комсомола, а партии. Начал инструктором, вскоре стал завсектором, потом завотделом.

Любопытнейший феномен: Шурка, сколько я его помню, человек умный, ироничный, циничный в меру, в годы своего партийного взлета неожиданно для всех переродился. Нет, он по-прежнему оставался компанейским малым, всегда готовым выпить с друзьями, поржать над анекдотом, посудачить о том о сем, одолжить до получки, выручить товарища, похлопотать за него, пользуясь своими немалыми райкомов-

скими и даже горкомовскими связями. Но стоило разговору повернуть на политическую тему, как Шурка становился тоскливо-дидактичным, как передовица в «Правде».

Понятное дело, в нашей разномастной банной компании Шурка был не единственным партийцем. Одни оказались в рядах коммунистов-ленинцев в несмысленном солдатском возрасте, другие заполучили партбилет из презренных карьеристских побуждений, а попросту говоря, чтобы не потерять возможность спокойно заниматься любимым делом, но все относились к этому легко и беззаботно и не изображали из себя страстно верующих. Скорее наоборот: коммунистическая религия была у нас главным объектом шуток и подначек. Как-то раз, к примеру, перед нами встала серьезная проблема. Банная компания разрослась, в сауне стало тесно, надо было избавляться от лишних из числа последнего пополнения. Созвали политбюро, и кто-то предложил формальный признак для чистки наших рядов: партийность, долой коммунистов!

Когда начинались подобные шутки, Шурка вел себя, как верующий на лекции по атеизму, – с каменным лицом молчал. Впрочем, его особенно и не доставали: Шурку в компании любили, к тому же понимали, что положение обязывает. И все-таки мы наградили его новым прозвищем – Любимец Партии, – к чему он отнесся довольно снисходительно.

К концу семидесятых кривая Шуркиной карьеры резко пошла вверх. В составе каких-то партийных делегаций он за-

частил за рубеж, стал нарушать святая святых – наш устав: пропускал банные дни, возлагая обязанности старосты на меня. Как-то раз после месячного отсутствия он появился в баню строгий и торжественный, райкомовский шофер внес за ним две картонные коробки – дюжину шампанского и фрукты. Мы обступили Шурку и стали его теребить – что за праздник у нас сегодня? Он отмалчивался и только после двух заходов в сауну, когда были откупорены первые бутылки, в белой простыне похожий на римского патриция, торжественно объявил: с сего дня он, Александр Тимофеевич Сидорский, не хер собачий, а второй секретарь райкома.

Он переехал в четырехкомнатную квартиру и, к всеобщему удивлению, зажал новоселье, а меня попросил не раздавать налево и направо его новый номер телефона. В баню он ходить перестал: сам понимаешь, старик, откуда время взять, я Ритку и пацанов неделями не вижу. И я видел его редко, а когда выбирался к нему, мы сидели на кухне за бутылкой, и он мрачно рассказывал мне о горкомовских интригах, о своих высокопоставленных недоброжелателях. Впрочем, были у него не менее высокопоставленные покровители, которые намекали ему, Шурке, что в райкоме он не засидится, что его место выше.

А потом закончился второй, партийный, этап Шуркиной биографии, и начался третий, опять же ко всеобщему удивлению, диссидентский.

После долгого перерыва Шурка появился в бане не в при-

вычном темном костюме с депутатским значком на лацкане, а в заплатанных джинсах и свитере, и мы узнали, что он из райкома – ну их всех на хер! – ушел и работает теперь баллонщиком в мастерской по ремонту шин – приезжайте, мужики, я вам шины залатаю и колеса отбалансирую, вот вам адрес, вход со двора, спросите меня. И Шурка вновь стал старостой, которого мы знали и любили. Раньше, в партийный период, он мог запросто помочь любому из нас: замять неприятность, пристроить сына-дочку в институт, организовать «жигули» без очереди, мог даже квартиру пробить. И помогал, ничего не скажешь. Только как-то не очень хотелось обращаться к нему за помощью. А сейчас, когда возможности его донельзя сузились – он мог всего-то камеру без очереди залатать, – мы буквально не вылезали из его мастерской, ездили из центра к черту на рога в Вешняки, к самой кольцевой, словно не было в городе других баллонных мастерских.

Любо-дорого было смотреть, как он, посвежевший, скинувший десяток килограммов и лет, ворочал тяжёлыми колёсами, волосатыми своими лапами орудовал монтировкой, как покрикивал на интеллигентных клиентов: ты бы, хозяин, протер свои колёса, я ведь тоже пусть простой человек, а пыль глотать не хочу. Приедешь к нему со спущенной шиной, а он тотчас же объявляет перерыв на обед – очередь пикнуть не смеет, – запирает двери, ставит чайник на плитку, сыплет заварку от души. Потрепемся всласть, а Шурка

между делом и колесо тебе починит.

Если у кого случался непорядок с колесами, к нему ехали в будни после работы, благо мастерская была открыта допоздна, а уж в субботу к Шурке было настоящее паломничество. Однажды, прикупив новые шины, я позвонил ему, чтобы сговориться на выходной – подъехать и сменить резину.

– Я теперь в субботу не работаю, – каким-то постным голосом сказал Шурка.

– Давно пора, – согласился я с ним. – А то наши совсем тебя заездили. Знаешь что, тогда я завтра приеду к тебе домой, во дворе резину и поменяем. Договорились?

– Да нет, – ответил Шурка. – Я теперь по субботам вообще не работаю. Но ты все равно приезжай. Поговорить надо. А резину я тебе на неделе сменю.

Я приехал. Дверь открыла Рита, мы расцеловались, а потом она показала рукой куда-то в глубину огромной райкомовской квартиры и покрутила пальцем у виска.

Шурку я застал на кухне, он сидел за столом в халате, из распахнутого ворота выбивалась бурая шерсть. Он глянул на меня поверх сидевших на кончике носа очков, и что-то неожиданное в его облике, что-то старозаветное, остро противоречащее его, Шуркиной, сути остановило меня на полуслове, заставило остолбенеть с разинутым ртом. Боже, на густой его шевелюре, на жесткой меховой шапке, которая покрывала несуразно большой его череп, сидела еще одна шапочка – крохотная черная шелковая ермолочка, приколотая

к волосам женскими заколками.

Да, Шурка сидел субботним утром за кухонным столом в кипе и, как правоверный еврей, читал Пятикнижие Моисеево. Перед ним лежала раскрытая книга, двуязычное издание: на левой странице текст на русском, правая страница испещрена загадочно прекрасным орнаментом иврита. Шурка читал Тору.

Итак, Шурка стал евреем. Его объяснения, где он выискал семитские корни, звучали как-то неубедительно, по крайней мере для меня: уж я-то хорошо знал его маму и папу – там евреи и близко не ступали. Но Шурка исправно ходил в синагогу, соблюдал субботу и подал документы в ОВИР. Рита была в ужасе.

В баню Шурка ходил регулярно, пропустил, помнится, лишь один раз, после того как подвергся обрезанию, – побоялся внести инфекцию. Но как только оперированное место поджило, вновь приступил к выполнению обязанностей старосты и охотно демонстрировал обновленную деталь, поясняя нам, скептикам, медицинскую и бытовую пользу ритуальной операции.

Чтобы быстрее перейти к действию, к дням нынешним, я скрепя сердце вынужден следующие шесть лет Шуркиной биографии втиснуть в несколько строк, хотя эти годыместили столько событий, что могли бы лечь в основу отдельной книги, остросюжетной и увлекательной. Шурка получил не то пять, не то семь овировских отказов. Он то впадал в

отчаянье, то загорался новыми надеждами. Он писал письма Горбачеву и Рейгану, писал в ООН и Международный Красный Крест, выходил на демонстрации, за что попадал на пятнадцать суток в кутузку, собирал на пресс-конференции иностранных журналистов, делился с нами в бане абсолютно сумасшедшими идеями бежать из Союза: вплавь из Сухуми в Турцию, на воздушном шаре в Норвегию, на лыжах через полюс. Будучи человеком действия, он немедленно приступал к реализации своих проектов: покупал гидрокостюмы и лыжи, ходил по магазинам в поисках материала для спроектированного им монгольфьера. И всякий раз нам не без труда удавалось его отговорить: кретин, ты посмотри на себя и Ритку, да еще пацаны, какой шар вас выдержит... В самом деле, несмотря на отчаянную борьбу за выезд, и Шурка, и супруга его изрядно раздобрели, да и близняшки, которым к тому времени стукнуло тринадцать, уродились в родителей, богатырями.

Я убежден: рано или поздно этот сумасшедший непременно выкинул бы нечто подобное. И страшно подумать, чем бы это кончилось для него, для Риты, для мальчишек. Слава Богу, то ли упорная Шуркина борьба с государством увенчалась успехом (сам он не сомневался, что это именно так), то ли просто время пришло, но его наконец выпустили. К этому времени Шурка окончательно разочаровался в еврейской идее, так что после похоронных проводов в Шереметьеве он со своей семейкой отправился в Штаты, обычным в те дни

путем – через Вену и Рим.

Мы переписывались и перезванивались. Я знал, что он мыкается, меняет жилье и работу, но помочь ничем не мог. А потом вдруг получил от него роскошную бумагу с готическим шрифтом, с красной сургучной печатью и красной ленточкой, с подписью важного государственного нотариуса – приглашение. И решил ехать.

За несколько дней до отъезда меня разбудил ночной звонок из Нью-Йорка:

– Слушай, старик, огромная к тебе просьба: прихвати с собой казан для плова. Только побольше размером, самый большой какой найдешь. И непременно чугунный. Алюминиевый не бери. В этой проклятой Америке хорошего казана не найти. Будем с тобой плов варить...

– А риса, мяса – не надо? – Я окончательно проснулся и был способен язвить.

– Не валяй дурака, без казана не приезжай. – В этом был весь Шурка. – Да, кстати, чуть не забыл. В Шереметьеве к тебе подъедет мужик один, ну, в общем, мой партнер по бизнесу. Он тебе передаст небольшую коробку для меня. Так, ничего особенного. Сэмпл. – Шурка тут же перевел иностранное слово, словно давая мне ощутить дистанцию между ним, бизнесменом международных масштабов, и мною, совковым недоумком: – Образец. Коробка легкая, как суповой набор, тебе даже не придется за перевес доплачивать...

Да, не придется, подумал я, как же. Казан – тот, наверное,

пуд потянет. Но спорить с Шуркой не стал, а с утра отправился на поиски казана, который удалось купить лишь в последний день и который в результате занял целую сумку.

А с коробкой и впрямь все оказалось просто. Я стоял в очереди на досмотр, когда ко мне подошел среднего роста молодой блондинчик с простоватым лицом, одетый в униформу московского кооператора – турецкую кожанку, турецкие же мятые слаксы и кроссовки. Он осведомился, тот ли я, кого он ищет по поручению Александра Тимофеевича. И когда я сказал, что тот самый, он положил поверх моих сумок длинную картонную коробку. Я ее поправил – в самом деле легкая – и покатил тележку к таможенной калиточке. Меня беспокоила моя собственная жалкая контрабанда, я слегка нервничал и забыл о Шуркиной коробке. Скелет на экране вовсе не похож на рентгеновский снимок, а прорисован четко, со всеми деталями, как в анатомическом атласе. У него, скелета, какой-то спокойный, умиротворенный вид, кажется, пустые глазницы глядят с ленивым удивлением: в чем проблема, ребята? Таможенник с трудом отрывает взгляд от экрана и смотрит на меня.

– Так... А это что такое?

Я ошарашен. Ничего себе сэмпл! Хорош Шурка – хотя бы предупредил. Но я понимаю, надо что-то немедленно ответить таможеннику, как-то объяснить появление скелета на экране, а следовательно, в моем багаже. Как в ночном кошмаре, я пытаюсь выдавить из себя слова, но мои губы только

беззвучно шевелятся. Все – съездил! Наконец я слышу, что начал произносить членораздельные звуки.

– Это не мое... Это... Сэмпл... Образец то есть... У меня поручение. Господи! – Я хлопаю себя ладонью по лбу. Как я мог забыть? – У меня есть бумаги, сопроводительное письмо...

Блондин в кожаной куртке дал мне какой-то конверт. Куда я его сунул? Я охлопываю себя по карманам. Ага, вот он. Я извлекаю плотный конверт с надписью «Министерство здравоохранения СССР» и протягиваю его таможеннику.

Таможенник медленно извлекает из конверта напечатанные на бланках бумаги, читает, смотрит на меня, снова читает. Несколько минут назад взгляд его был безразлично-благожелательным, теперь он смотрит на меня настороженно и даже враждебно. Он тянет руку в свою конторку, извлекает оттуда «уоки-токи» и что-то говорит в трубку. Минуту спустя рядом оказываются еще двое в серой форме, по виду и манерам чином выше моего. Все трое снова погружаются в бумаги.

Они вслух читают, комментируют прочитанное. На меня не смотрят, будто меня нет. Я же начинаю понимать, о чем в бумагах речь. Есть какое-то совместное, вроде бы советско-американское, предприятие при Минздраве. И наша его сторона посылает американской этот самый скелет для оценки соответствия заранее оговоренному качеству. Какое качество у скелета? Скелет он и есть скелет. Бред какой-то!

Влип, ничего не скажешь...

За моей спиной очередь на досмотр начинает шуметь. Но тройка в серой форме не обращает на это ни малейшего внимания. Они выявили опаснейшую контрабанду и принимают соответствующие меры: передавая из рук в руки бумаги, они, кажется, в пятый раз перечитывают их. На конторке перед ними еще одна бумага, которую они пока не смотрели.

– Простите, вот еще какое-то письмо, – робко говорю я.

– Там не по-русски, – не поднимая головы отвечает мой таможенник.

Я беру в руки лист, вижу слово «договор» на английском, узнаю внизу Шуркину подпись.

– Давайте я переведу...

– Надо будет, сами переведем, – отрезает человек в сером, по всей видимости старший. – Положите на место!

Я молча выполняю приказ. Кажется, тройка в сером закончила изучать документы, по крайней мере, они больше ничего не могут из них выжать.

– Э, простите... – Старший таможенник заглядывает в мой паспорт, чтобы назвать меня по имени и отчеству. – Вы не знаете, этот... человек, он наш, советский гражданин или американец?

Откуда мне знать? Я пожимаю плечами. Впрочем, думаю, откуда у нас мог взяться американский жмурик, и отмечаю про себя, что таможенник назвал скелет человеком. Впервые за время затянувшегося шмона ко мне возвращается чувство

юмора. Страх исчезает. Не пустят так не пустят. Видали мы эту Америку!

Тройка совещается, и старший принимает решение:

– Давайте-ка позовем Серегу, пусть он посмотрит.

Короткий разговор по «уоки-токи». Появляется Серега, молодой расхристанный парень, в рубаше, расстегнутой чуть ли не до пупа. Впрочем, лицо славное и неглупое. Держится независимо, явно не подчиненный никому из троих в сером.

– Чего у вас там? – Из заднего кармана джинсов Серега извлекает пачку «Мальборо» и зажигалку, закуривает и только после этого смотрит на экран. Картинка вызывает у него веселое изумление, он присвистывает и изрекает: – Ни хрена себе!

Налюбовавшись скелетом, Серега читает бумаги. Остальные участники сцены – таможенники и я вместе с ними – следят за выражением его лица. Оно абсолютно бесстрастно. Он читает второй раз, медленнее и внимательнее – видно, как глаза перебегают со строки на строку, – прищелкивает пальцами, отрывается от бумаг, кладет их на конторку, задумчиво смотрит в потолок. Мы напряженно следим за ним.

Наконец Серега давит в пепельнице недокуренную сигарету, смеется и говорит:

– Да хер с ним, пускай везет.

Напряжение мгновенно спадает, таможенники улыбаются. Я чувствую, что мои губы тоже растягиваются в улыбке. Кстати, к кому относится «хер с ним» – ко мне или к скеле-

ту? Какая разница – главное, что обошлось. Ай да Серега, пришел и все решил! Скелет исчезает с экрана, коробка выплывает из просвечивающего аппарата, я хватаю ее и бережно кладу на свою тележку.

– Мне можно идти? – спрашиваю я у своего таможенника.

– Идите, идите, вы и так очередь задержали, – говорит мой таможенник.

Я разгоняю тележку и, позвякивая контрабандными баночками икры в кармане, быстрым шагом устремляюсь к барьеру «Аэрофлота», к таинственным, исповедального вида будочкам паспортного контроля, к роскошному закордонному магазину дьюти-фри, к «боингу», который унесет меня в Америку.

Глава 2

Сильно забегая вперед, признаюсь: я обалдел, ошалел от Америки. И знаете, больше всего от названий городов, где побывал, и улиц, по которым бродил. Названия, с детства знакомые по книгам, литературные символы, картонные декорации, в которых жили в моем воображении герои классики, знаменитых полицейских и детективных романов. И вот на тебе – все это настоящее, все это я вижу собственными глазами, могу обнюхать и потрогать руками. И нюхаю, и трогаю.

Я валяюсь с банкой пива на травке Централ-парка, где катался на роликах и велосипеде Холден Колфилд. Я иду себе по Тридцать пятой, на которой жил ленивец и обжора и при этом великий сыщик Ниро Вульф вместе со своим неутомимым помощником Арчи Гудвином. Шурка везет меня в своей машине на Кони-Айленд по маршруту Великого Гэтсби. Электричка Нью-Йорк – Вашингтон, в которой я еду, на три минуты притормаживает на остановке с завораживающим мое воображение названием Делавэр, и я могу запросто здесь выйти, взять такси, побродить ночь по незнакомым улицам, а потом вернуться на вокзал и поехать дальше.

Немалым усилием воли я преодолеваю графоманскую страсть описывать многократно описанное, да к тому же перьями не чета моему. Дальше об Америке – лишь то, что

имеет прямое отношение к делу.

«Боинг» коснулся полосы, и пассажиры дружно зааплодировали пилоту, который благополучно доставил их в Америку, пока они спали в мягких креслах, жрали ланчи и пили кока-колу. Я поаплодировал вместе со всеми, поглядел в окошко, обнаружив при этом, что поле аэропорта Кеннеди мало отличается от шереметьевского, и начал нервничать перед встречей с американской таможней. Тут уж меня совсем не заботили баночки с икрой, подстаканник, поллитра да заначенная двадцатка, зато я сильно беспокоился из-за скелета. То и дело ощупывая конверт с сопроводительными документами, я складывал в уме английские фразы для предстоящего объяснения.

Смешно сказать, но из полутора сотен пассажиров «боинга», должно быть, я один удостоился беседы с американским таможенником. Получив у огромного равнодушного (вот уж действительно «не повернув головы кочан») негра какую-то нашлапку в паспорт, я дождался своего багажа, ошалело огляделся в поисках тележки и, не найдя ее (десятки тележек, задвинутые одна в другую, стояли рядом со мной – где мои глаза были?), взвалил на плечи тяжелые сумки, взял под мышку коробку со скелетом и потащился в толпе прибывших куда все. Должно быть, мой навьюченный вид и привлек внимание скучающего таможенника.

– Простите, сэр, – прозвучало совсем рядом.

Я повернул голову и увидел седовласого загорелого муж-

чину в ладной полувоенной форме, подпоясанной широким кожаным ремнем, на котором были навешаны разные причиндалы, в том числе большая кобура, переговорное устройство и наручники. Впрочем, вполне возможно, наручники мне почудились – я ни на миг не забывал о своей страшной ноше. По сценарию, однако, наручники непременно должны были висеть на поясе седовласого, потому что он удивительно походил на хорошего шерифа из вестерна, стража порядка и закона, доброго к честным людям и безжалостного с преступниками. Он настолько смахивал на такого шерифа, что впору было ждать от него обращения «сынок».

– Простите, сэр, вы с какого рейса? С московского?

Итак, я, товарищ из товарищей, товарищ с чуть ли не с тридцатилетним стажем, с первых своих комсомольских собраний, впервые назван сэром – ни хера себе! И должен, меня предупреждали об этом, подобным же образом обращаться ко всем официальным лицам, даже к мальчишкам-полицейским, – никакого панибратства.

– Да, сэр, с московского. – Я опустил свой груз на пол и распрямил плечи.

– Вас не затруднит поставить ваш багаж сюда? – Он показал рукой на стойку. – Позвольте, я вам помогу.

– Что вы, сэр, не беспокойтесь, я сам... – засуетился я, ставя перед ним коробку со скелетом и одну из сумок. Но он уже подхватил другую, с казаном, тяжеленную, и легко, совсем не напрягаясь, поставил ее рядом с коробкой.

– Что это у вас такое тяжелое? – с улыбкой спросил он и постучал костяшками пальцев по kazanу.

– Казан... Ну котел такой...

Тут я должен сделать небольшое отступление. Мой разговорный английский ужасен – я изъясняюсь на корявом языке прочитанных детективов, при этом с жутким рязанским прононсом, и понимаю собеседника лишь тогда, когда он произносит слова медленно и отчетливо, в противном случае по несколько раз переспрашиваю, с каждым разом все больше смущаясь, и в конце концов теряю нить беседы. Однако, чтобы не усложнять дальнейшее повествование, все диалоги на английском с моим участием я намеренно очищаю от этой шелухи.

– Котел? – переспросил добрый шериф. – Вы привезли с собою в Америку котел? Зачем?

– Плов варить, – ответил я довольно мрачно, ибо понимал полную нелепость перевозки через океан чугунного котла и еще понимал, что расследование по kazanу – только начало моих неприятностей, за ним неизбежно последуют расспросы по поводу скелета.

– Простите, сэр, а что такое плов?

– Ну, знаете, это такое восточное блюдо – рис, мясо, специи.

– Ага, ага, конечно, знаю, – почему-то обрадовался таможенник, должно быть, как все добрые люди, любитель вкусно поесть. – Пилав, кус-кус... Но зачем котел?

– Чтобы варить плов, – тупо повторил я.

– О'кей. Но зачем везти котел из России? Поверьте мне, сэр, у нас в Америке тоже есть котлы.

Я промолчал, полностью согласный с добрым шерифом – только Шурке могло прийти в голову дать мне такое поручение.

Таможенник улыбался, глядя на меня.

– Раскрыть багаж? – спросил я безнадежно.

– Что вы, что вы... Не надо. Все в порядке. – Добрый шериф нагнулся, выкатил из-под стойки багажную тележку и положил на нее мой груз. – Проходите, сэр, ваши родные и друзья, должно быть, вас заждались. Добро пожаловать в Америку!

Я поблагодарил таможенника – отнюдь не формально, а на самом деле испытывая благодарность ему и облегчение, – и покатил тележку к толпе встречающих, впереди которой подпрыгивали от нетерпения и махали мне руками Шурка, Рита и два их отпрыска, орлы гренадерского роста. Через несколько секунд мои кости хрустели в Шуркиных объятьях.

– Ты не можешь себе представить, старик, какое золотое дно эта остеология. Вот за того красавца, которого ты привез, я возьму не меньше восьмиста баксов, а может, выколотчу и всю тысячу. А себестоимость там у вас, в Союзе, что-то около полутора сотен. Хорошо, накинь расходы на пересылку, накладные расходы – все едино прибыль не меньше че-

тырехсот процентов. И никакого риска! Все, как в хорошем банке...

Мы сидели после плотного то ли обеда, то ли ужина на бруклинской кухне, как не раз сживали на московской. Парни, деликатно извинившись, умотали по своим делам – Шурка подмигнул мне одобрительно: дескать, подружки ждут, дело молодое. Рита мыла посуду.

За обедом мы пересказали друг другу все новости, помянули всех друзей и знакомых – и здешних, и оставшихся в России, усидев при этом три бутылки, по бутылке на человека: богатырша Рита пила крепкое с нами вровень, а ребята довольствовались пивом. Но вот удивительно, мы ничуть не хмелели, разве что самую малость.

– Тут, понимаешь, воздух такой, нью-йоркский, сколько ни выпьешь, только здоровее становишься. Давай еще по одной, – гудел Шурка, разливая по рюмкам привезенный мною натуральнейший «Арагат». – Будем здоровы! И за нашу остеологию!

Мы махнули, и тут я наконец почувствовал, что слегка поплыл. С какой стати я пью за науку о костях, за кости, скелеты? Что за бред!

– Мужики, не гоните лошадей! – прикрикнула на нас Рита, расставляя вымытую посуду. – Оставьте мне немного коньяка. И хватит о костях. Ты поверишь, – она обращалась уже только ко мне, – с утра до вечера одно и то же: кости, скелеты, кости, скелеты... Они мне уже по ночам снятся.

– Ладно тебе. Хватит ворчать. Пусть снятся, лишь бы бабки платили. Лучше было на вэлфере сидеть? Брось свои тарелки, иди к нам! – Шурка снова налил, теперь уже в три рюмки, наплескав коньяка на скатерть.

Шурка всегда отличался глазомером и твердостью руки – я понял, он изрядно набрался.

– Ну, мальчики, давайте еще раз за встречу, – сказала Рита, усаживаясь за стол, и подняла рюмку.

Мы потянулись друг к другу, чтобы чокнуться, но тут Шурка внезапно поставил свою рюмку на стол, вскочил и, не сказав ни слова, выбежал из кухни.

– Сумасшедший... – успела проворчать Рита, а Шурка уже снова был около стола, с той самой картонной коробкой в руках.

– Пойдите, пойдите, так нечестно, без него нельзя... – бормотал он, разрывая шпагат на коробке. – Вот так, вот так... И ему нальем, обязательно нальем.

Мы с Ритой безмолвно наблюдали эту inferнальную сцену. Шурка распутал наконец шпагат, прислонил к стене коробку и сорвал с нее крышку. Мы смотрели на скелет, тот без особого интереса смотрел на нас. Шурка тем временем бросился к буфету, достал еще одну рюмку и, вернувшись к столу, плеснул в нее коньяку.

– Вот теперь давайте выпьем. Все вместе. За встречу. За удачу! – строго сказал Шурка. И мы не посмели возразить ему, ибо знали: когда он в таком состоянии, перечить ему

нельзя.

Опрокинув свою рюмку, Рита извинилась передо мной и отправилась спать, а напоследок, уже на пороге кухни, показала на Шурку и покрутила пальцем у виска. И мы остались с Шуркой вдвоем. Нет, втроем: из глубины квартиры, цокая когтями по полу, пришел ризеншнауцер Жора с огромными некупированными ушами и, глубоко вздохнув, улегся у Шуркиных ног. А если быть совсем точным, то вчетвером, потому что скелет по-прежнему стоял в коробке у стены и смотрел на нас. Мне казалось, что смотрит он вполне дружелюбно, порою с некоторым даже любопытством. Впрочем, тут надо сделать скидку на выпитое.

Мы еще пили, но почему-то становились все трезвее и трезвее. Такое бывает, когда разговор за столом длится далеко за полночь и собутыльникам есть о чем поговорить.

Собственно, говорил один Шурка. Жора тихо посапывал, временами он подымал большую лопоухую голову и, убедившись, что все на месте, снова задремывал. Скелет, как и положено ему, не шевелился и был безмолвен. А я, разинув рот, слушал Шуркины байки.

Шурка – гениальный рассказчик. Думаю, главное объяснение его блистательной партийной карьеры, прерванной ради диссидентства и эмиграции, – хорошо подвешенный язык. Разумеется, были и другие немаловажные факторы: колоссальная энергия, способность к мимикрии, физическая мощь, – но главное все же язык. Шурка умел нести

полнейшую околесицу так, что его слушали развесив уши, а он размашисто вешал на них лапшу своего краснобайства. В уже далекие счастливые банные времена он мог произнести часовой монолог – о пользе обрезания, или о внешней политике, или о достоинствах того или иного нашего государственного деятеля, или о рисунках шинных протекторов, или о сионизме, – и все забывали, зачем пришли: самые заядлые парильщики слушали его и даже не отлучались погреться. Он мог безжалостно исказить общеизвестные факты, перепутать имена и даты, но никому не приходило в голову поймать его на этом. Так велика была сила убеждения, которой он обладал.

Вот и сейчас, сидя с ним с глазу на глаз на кухне в Бруклине, я верил, что только роковое стечение обстоятельств не позволило ему до сих пор сделать миллионы на торговле недвижимостью, перепродаже самолетов, поставках мороженого из России и скупке дешевого, как картошка, золота в Бразилии. Да, всем этим он занимался и был на грани баснословного успеха, но всякий раз что-нибудь да случалось, и удача пролетала мимо. А его, Шуркины, проекты все как один гениальны. И он может хоть сейчас взяться за их реализацию, если удастся раздобыть начальный капитал. А раздобыть его ничего не стоит: кругом полно лохов, готовых отдать сотни тысяч под его проекты. Но теперь это ему уже не нужно, потому что он наконец-то нашел-таки свою золотую жилу. Имя ей – остеология.

Пришли от своих подружек близнецы и отправились выгуливать Жору, вернулись с прогулки и, пожелав нам покойной ночи, отправились спать; Жора, почавкав в огромной пластмассовой миске, тоже пошел на свое место в прихожей. У меня слипались глаза, а Шурка все говорил и говорил.

Он вышел на свою золотую жилу случайно, но ведь удача сопутствует только тем, кто ее ищет. Полгода назад он рылся в газетных объявлениях о продаже недвижимости и наткнулся на неожиданное: какой-то чудака желает купить несколько человеческих скелетов. Шурка созвонился с чудаком, потом с ним встретился и сразу почуял запах удачи. Разумеется, он не стал связывать свои планы с потенциальным клиентом, который замыслил декорировать только что купленный дом то ли под старинный родовой замок, то ли под жилище алхимика. Нет, Шурка поступил иначе. Он без труда отыскал фирму, поставляющую университетам и научным лабораториям всей Северной Америки кости и целые скелеты, выяснил цены и емкость рынка и сделал нахальное предложение: он готов начать поставки в следующем квартале.

Да, это было чистейшей авантюрой, ибо, предлагая респектабельной фирме контракт, Шурка мог рассчитывать только на собственный скелет, расставаться с которым вовсе не собирался. Но он твердо знал, что его далекая, теперь уже бывшая родина – гигантская сырьевая база скелетного производства, способная насытить американский рынок. Высокий партийный пост, который он занимал прежде, позволял

ему знать абсолютно недоступное до недавнего времени нам, простым смертным, – в частности, сколько в одной только Москве неостребованных, никому не нужных покойников, ушедших в мир иной инкогнито, пролежавших в моргах свой положенный срок, после которого судебно-медицинская экспертиза с легким сердцем дает разрешение превращать их в учебные пособия: никому не были нужны при жизни – так послужите человечеству после смерти. С другой стороны, в христианской, богобоязненной, богатой до одури Америке сыскать бесхозного жмурика – задача неимоверно трудная. А если таковой и найдется, всегда найдутся также и доброты, готовые похоронить его по-людски за свой счет. И в то же время бесчисленные университеты и колледжи буквально задыхаются от бесскелетья, от нехватки человеческих костей россыпью и в сборе, которые необходимы, чтобы дать приличное образование миллионам шумливых, больше думающих о травке и траханье, чем об учебе, американских мальчишек и девчонок.

Здесь необъятный рынок, там неисчерпаемая сырьевая база. Остается их связать. Что Шурка и сделал. И на сей раз его расчет оказался верен.

Шурка сел за телефон и, потратив кучу денег на международные переговоры, с помощью старых своих горкомовских связей вышел на московских скелетников, на полукустарный цех при каком-то морге. Это было время, когда робко, с оглядкой – как бы не прихлопнули – создавались в Москве

первые кооперативы, и начальник цеха Гриша Писаренко, малый не промах, тот самый парень в кожанке и слаксах, который провожал меня в Шереметьеве, оттяпал скелетное хозяйство у больницы и превратил его в кооператив. На этой стадии смены форм собственности и нашел его Шурка. Прислал приглашение, встретил в Нью-Йорке по-королевски, напоил, как говорится, в жопу и в результате подписал с ним все нужные бумаги на создание совместного предприятия, джойнт вентчер, по-ихнему, хотя последнее английское слово в основном своем значении – скорее приключение, риск, авантюра.

– Я знал, что иду на риск, – говорил Шурка, вновь, в несчетный уже раз, наполняя рюмки. Его распирала гордость собственной прозорливостью и деловой сметкой, он впервые, должно быть, заполучил благодарного слушателя и не хотел упустить возможность выговориться. Признаться, и я слушал его с интересом, хотя от выпитого мысли путались, а глаза слипались. – Один только приезд Гришки обошелся мне тысяч в пятнадцать. У меня, честно сказать, их тогда и не было – на мели сидел. Занимать пришлось. Зато теперь «Остеотраст» на пятьдесят процентов принадлежит мне, и я уже окупил все расходы. Теперь пойдет чистый профит.

– «Остеотраст», говоришь, – пьяно захохотал я. – Это что же получается в переводе? Доверие к костям... Так, что ли?

– Лингвист хуев... – буркнул Шурка добродушно, что было удивительно, поскольку он всегда относился к своим де-

лам исключительно серьезно, требовал того же от друзей и легкомысленные шутки в этой сфере строго пресекал. – Хоть горшком назови. Вот смотри: я одних костей уже продал на пятьдесят тысяч без малого. Возьми, скажем, бедренную или большую берцовую...

Он вскочил, подбежал к скелету и, указывая на его детали, стал сыпать ценами. Было в этом что-то от мясного отдела гастронома. Я поежился. Шурка уловил мое состояние и вернулся к столу.

– Ладно, давай выпьем...

Мы чокнулись и выпили. После короткой паузы Шурка продолжал:

– Ты целку из себя не строй. Это бизнес. Обычный честный бизнес. Я не виноват, что люди умирают. А кости нужны живым. У меня знаешь сколько заявок. Кто-то в конце концов должен делать черную работу. Не я – так другой. – Видимо, решив, что моральная сторона дела полностью отработана, Шурка вернулся к деталям: – Это, знаешь, действительно золотая жила. Жду на днях партию ушей... – Увидев, что я опять изменился в лице, он поспешил меня успокоить: – Нет, не то, что ты думаешь, не ушные раковины... Внутренние детали ну, там, улитка, барабанная перепонка, ну сам знаешь.

По правде говоря, я не знал, то есть совершенно не помнил устройства уха, но был готов поверить, что для науки все эти внутренние детали нужны позарез, а значит, Шурка не

просто зарабатывает деньги, но делает важное общепольное дело. И на меня накатила пьяная волна доброжелательности к Шуркиному необычному бизнесу. Должно быть, он почувствовал это.

– Знаешь что, старик, – сказал Шурка, – бросай ты свои копеечные дела. Что ты там на своих статейках зарабатываешь, вдовьи слезы. Давай работать вместе, мы с тобой вдвоем горы своротим. Я здесь – ты там. Подумай!

– О чем мне думать? Что я делать буду в твоём бизнесе? – Я внезапно обозлился. – Людей в Союзе мочить? Заготсырье, да?

Шурка расхохотался.

– Ты замочишь... Тебе самому трижды глотку перережут, пока руку, интеллигент, подымешь. Да нет, есть вполне мирная и прибыльная работа. Мне вот готовы заказать двадцать... нет, тридцать тысяч кошек. Твое дело наладить отлов. Не самому за ними бегать – нанять пацанов. Рассчитываться с ними будешь рублями, а здесь нам будут платить баксы – по пять за кошку. Ну как?

Я жутко обиделся, и мне стало страшно жалко кошек. И я ответил Шурке словами, которые вряд ли вытерпит бумага, нынче уже почти смирившаяся с ненормативной лексикой. Помнится, я вскочил и полез на него с кулаками, и кончился бы мой первый день в Америке пьяной дракой с другом, не сохрани Шурка голову несмотря на выпитое. Он облапил меня своими волосатыми ручищами так, что я не мог и шелох-

нуться, говорил что-то успокоительное, постепенно я утихомирился, мы выпили по последней, а потом он увел меня в бедрум, где Рита постелила для меня на роскошной, чуть ли не пятиспальной американской койке, едва опустившись на которую я тут же и захрапел.

Насчет нью-йоркского воздуха Шурка не соврал: я проснулся свежий как огурчик, будто вчера не пил ничего, кроме диет-пепси. Уходя на работу, Рита оставила нам кухню прибранной, сияющей чистотой. Мы с Шуркой, оба в халатах, пили кофе и, как водится, подсчитывали выпитое намеренно – чисто наша, российская черта: как отказать себе в удовольствии узнать, что усидели столько-то бутылок и при этом сохранили ясность мысли, – значит, еще годимся, значит, лихая молодость не прошла, значит, впереди еще много добрых застолий и других молодецких затей.

За окном было солнечное утро ранней осени, по-нашему бабье, по-ихнему индейское лето. Огромный город еще не нагрелся до нестерпимой нью-йоркской духоты. Вдоль Океанского бульвара (Оушн-парквэй – я уже сверился с картой Нью-Йорк-сити) дул свежий, понятное дело, океанский ветерок. На душе у меня было легко и празднично, хотя я слегка волновался перед первым своим выходом на улицы великого города: как-то он встретит меня, не разочарует ли, не почувствую ли я себя в нем потерянным жалким провинциалом...

Договорено было с Шуркой, что сегодня он бросает все

дела и возит меня по Нью-Йорку от края до края, из конца в конец, чтоб я повидал весь Мохнатый (так они зовут здесь Манхэттен) – со статуей Свободы, Бродвеем, небоскребами, – а также весь Бруклин и, конечно, его жемчужину Брайтон-Бич, наш новый Порт-Артур, наш русско-еврейский Гонконг, наш форпост новой колонизации Америки. Я уже переоделся, а Шурка еще чухался в халате – перебирал какие-то бумаги, отправлял куда-то факсы. Как я понял, у «Остеотраста», этой грандиозной трансконтинентальной компании, еще не было собственного административного небоскреба из стекла, бетона и алюминия, не было даже офиса, а все операции осуществлялись на Шуркиной кухне, факс, по крайней мере, стоял почему-то на кухонном столе рядом с мойкой.

– Извини, старик, только один звонок, – сказал Шурка, – очень важный звонок. Не хочу его на завтра откладывать.

Он набрал номер и вступил в долгий разговор на английском. Шурка быстро и напористо говорил, потом надолго замолкал, изредка прерывая молчание коротким «я понимаю, я понимаю», потом снова в чем-то убеждал своего собеседника. Я понимал с пятого на десятое, но все же улавливал, что речь идет о привезенном мною скелете. Своего собеседника Шурка фамильярно называл Бобби, но в его голосе явно звучали почтительные, просительные, даже заискивающие интонации, ему абсолютно несвойственные. Судя по всему, Бобби представлял заказчика, и Шурка убеж-

дал его взять скелет и не мешкая выписать чек, а еще лучше заплатить наличными, во всяком случае, короткое словечко «кэш» он произнес несколько раз. Упрямый же Бобби, как я понял, просил не гнать волну, а сперва тщательно проверить качество товара и для этого показать скелет его, Бобби, эксперту. Хотите верьте, хотите нет, но фамилия эксперта была не то Костогрыз, не то Костоправ, что меня основательно развеселило, хотя, по правде говоря, ничего в ней особого не было – фирма-заказчик, как сказывал Шурка, американо-канадская, а хохлов-эмигрантов с самыми причудливыми фамилиями в Канаде не счесть. Тем не менее я еще несколько минут, пока длился разговор, не без удовольствия предавался занимательному словообразованию: Остеогрыз, Остеоправ, но Костотраст.

От приятных лингвистических упражнений меня оторвал стук в сердцах брошенной Шуркой трубки и его раздраженный голос.

– Эсхол! Факинг бастард, едри его мать! – вяловатый английский матюжок Шурка подкрепил нашим, ядреным. Получилось крепко и убедительно.

Мы сели в Шуркин «олдсмобил», чей возраст и внешний вид выдавали очевидный факт – «Остео-траст» и его президент делают лишь самые первые шаги к процветанию, и покатали по Океанскому бульвару, мимо невысоких кирпичных домов, мимо странного вида, не по погоде одетых прохожих – в широкополых черных шляпах над длинными пей-

сами, в черных же пальто до полу, мимо маленьких улочек, а потом, уже куда-то свернув с бульвара, – мимо пыльных складов и закопченных мастерских, покатали по Нью-Йорку, совсем непохожему на Нью-Йорк из кино.

Глава 3

С первых же дней мои нью-йоркские каникулы потекли в устойчивом постоянном русле, будто приехал я сюда не вчера, а несколько месяцев назад и ежедневные выходы в город стали для меня привычным, рутинным делом, будто езжу я в одни и те же часы на работу и возвращаюсь домой тоже в одни и те же часы.

Вставал я не очень рано – Риты и мальчишек уже не было, – но и не слишком поздно – Шурка еще не выходил из своей комнаты, – варил себе кофе и с удовольствием лез в битком набитый холодильник. Потом не спеша шел до метро, покупал полукилограммовую «Нью-Йорк таймс» и жиденькое провинциальное «Новое русское слово», усаживался в вагон подземки, напяливал очки и принимался за чтение. Вся прелесть поездки заключалась в том, что читал я в свое удовольствие, не опасаясь проехать нужную остановку. Ведь выйти я мог в любом месте, потому что начинать шататься по этому городу можно и должно из любой произвольной точки. Разумеется, были у меня и плановые поездки, скажем, подняться на Эмпайр-стейт-билдинг, обойти залы Музея современного искусства, постоять возле Святого Патрика и Объединенных Наций, прогуляться по Уолл-стрит. Но чаще всего я выходил когда вздумается, ориентировался по карте, чтобы не заблудиться, и брел куда глаза

глядят.

Я смотрел на фасады домов, сверкающие таблички банков, вывески баров и магазинов, время от времени сверялся с картой и шел себе дальше, а потом вдруг вставал как вкопанный, внезапно узнавая давно знакомое по какой-то книге место. Когда появлялся аппетит, останавливался у первой попавшейся уличной будки и с наслаждением жевал хотдог, пил что-то ледяное из горла, облизывал измазанные горчицей пальцы и брел дальше. Для тех, кто только собирается в Нью-Йорк, замечу, что в этом городе напрочь отсутствуют уличные туалеты, так что по мере необходимости я выбирал забегаловку подешевле, заказывал пиво или чашечку кофе и интересовался: где здесь у вас реструм. А потом, испытывая ни с чем не сравнимое чувство облегчения, закуривал и двигался дальше в шумной, пестрой, многоликой толпе, которой до меня не было никакого дела, в которой я был свой, был как все – как тот реализовавшийся сквозь вращающуюся зеркальную дверь тщательно одетый джентльмен, как тот неряшливый, разящий перегаром бродяга, трясущейся рукой протягивающий мне какую-то листовку – не то приглашение на проповедь, не то рекламу дешевой распродажи, как тот черный малый с курчавой, выстриженной в шахматную клетку головой.

Когда же наступал вечер и ноги мне окончательно отказывали, я покупал бутылку джина на вечер, находил ближайшую станцию подземки, прокладывал на карте маршрут с пе-

ресадками и отправлялся в Бруклин к Шурке, Рите, близнецам и Жоре.

Мне не было ни малейшей надобности выходить из дома и возвращаться домой в определенное время, но почему-то получалось именно так, словно я не бродил по городу, а служил в банке. Спустя несколько дней я стал встречать в поезде знакомые лица, раскланивался с черным священником на платформе, обменивался несколькими фразами с продавцом газет. Я быстро становился своим в этом чудесном городе.

Однажды утром мой распорядок неожиданно был нарушен. Я уже стоял в дверях, когда Шурка окликнул меня из своей спальни и попросил несколько минут подождать, если никуда особо не спешу. Вопреки своему обыкновению он не плескался полчаса под душем, собрался быстро, и мы отправились к очень нужному ему и крайне любопытному для меня, так он сказал, человечку.

Уже само место обитания человечка оказалось для меня крайне любопытным. Западная сторона Мохнатого, неподалеку от Гудзона, неизвестный еще мне индустриальный Нью-Йорк – гигантские склады, закопченные фабричные здания, подъездные пути. Мы запарковались в необъятном дворе среди огромных грузовиков, контейнеров и гор штабелированного металла, долго поднимались на медлительном грузовом лифте и наружной винтовой лестнице, вроде пожарной, потом шли бесконечными плохо освещенными коридорами и очутились наконец в зале размером что твое футболь-

ное поле.

Зал гудел равномерным машинным гулом и человеческими голосами. Он был плотно уставлен рядами узких скамеек и столов, на столах одна к одной стояли зингеровские швейные машинки, а на скамьях, тоже одна к одной, сидели женщины и строчили на этих самых машинках. На первый взгляд все женщины казались одинаковыми – черноволосые, с раскосыми азиатскими глазами и матовой кожей, в пестрых халатиках. Но, всмотревшись внимательно, я обнаружил, что среди них есть молодухи и пожилые матроны, глубокие старухи и совсем девочки, едва ли не десятилетние. Колеса швейных машин непрерывно вертелись, но старухи, женщины, девушки, девчонки умудрялись при этом переговариваться, перекрикиваться через несколько рядов, они спорили, ругались, смеялись, протискивались меж скамеек, несли по проходам кипы ткани, тянулись в курилку, хотя и над столами то там, то здесь подымался голубой дымок – мне почудилось, совсем не табачный.

Все это напоминало невольничий рынок в таинственной юго-восточно-азиатской глубинке, кадры второсортного, наспех снятого фильма с Брюсом Ли. Вот-вот появится в дверях одетый в опрятное кимоно невысокий простодушный парень с прекрасным, как само добро, лицом, которое при столкновении со злом может стать суровым и безжалостным. Ему навстречу бросятся мерзкие китаезы, вооруженные ножами, цепями и смертоносными нунчаками. А он,

один против дюжины коварных кровожадных врагов, соберется, спружинится, скопит внутреннюю энергию, сверкнет черными очами и бросится в бой: одного мерзавца поразит коротким тычком кулака или молниеносным ударом мозолистого ребра стальной ладони, другого в прыжке-полете настигнет сверху карающей босой ногой, от третьего увернется в головокружительном двойном сальто. И вот уже злокозненные китаезы корчатся на полу, а он, отважный и бескорыстный, говорит рабыням: вы свободны. Конечно, это будет не окончательная победа добра. Плохие люди вновь станут строить козни, делать свое черное дело – торговать наркотиками, захватывать заложников, мучить и убивать безвинных, – но он неизменно будет появляться когда нужно. И так – до полного торжества добра в конце фильма.

Я ждал появления Брюса Ли, но появился маленький квадратный человечек в незастегнутых на округлом брюшке джинсах и несвежей тишетке с портретом президента Рейгана на груди. Он был лыс, до крайности носат и слегка косил на правый глаз.

Человечек мелкими шажками подошел к нам и неожиданно сильно хлопнул Шурку по плечу.

– Привет, привет, Александр, все забываю, как там тебя по батюшке. Как жизнь молодая? Товар получил?

У него был писклявый голос и такой тягучий гомельский акцент, что я тут же вспомнил старый анекдот. Украинский еврей говорит белорусскому: «У вас даже названия городов

такие длинные, что не выговоришь – Ми-и-и-нск, Пи-и-и-нск... А у нас короткие – Симфропл, Милтопл!»

– Товар? Знаете, с товаром пока... Вот познакомьтесь, мой старый друг из Союза. Всего несколько дней как из Москвы... Столько лет не виделись! – Было совершенно очевидно, что человек не просто нужен Шурке, а очень нужен, во всяком случае, говорил он с ним еще почтительнее, чем с Бобби; с американцем он объяснялся на английском, где различие между «ты» и «вы», по крайней мере для меня, неуловимо, к человеку же в ответ на его «тыканье» Шурка обращался на «вы». Полагаю, такого он не позволял себе даже с первым секретарем райкома.

Между тем человек наконец заметил и меня, оглядел с ног до головы, но обратился не ко мне, а к Шуре:

– Еще один пылесос?

Я уже знал, что пылесосами в новоэмигрантской среде называют жадных до покупок приезжих родственников, которые буквально высасывают тощие кошельки и чахлые банковские счета своей американской родни, поэтому обиделся и не счел нужным это скрывать.

– У вас я, кажется, еще ничего не просил. Мы с вами даже не знакомы, – отбрил я человека, несколько скрадывая резкость дипломатической улыбкой.

– Ну так давай познакомимся, – сказал он и протянул мне маленькую, но мозолистую и очень крепкую ладошку. – Натан.

Он назвался с таким достоинством, словно из-за общеизвестности своего титула он его опустил как само собой разумеющееся: не принц Уэльсский Натан, не маркиз де Натан, а просто Натан.

Мне нравится это имя. Оно твердое и упругое, отскакивает от языка, как литой резиновый мячик от пола. Должно быть, потому, что это редкое слово-перевертыш: одинаково читается и слева направо, и справа налево. Хрестоматийный пример перевертыша: «А роза упала на лапу Азора».

Помнится, в редакции, где я давным-давно работал, было повальное увлечение перевертышами – целыми днями на службе мы корчились в творческих муках, а когда кого-то осеняло, он спешил поделиться со всеми своей находкой и орал: «искать такси!», или «укуси суку!», или «рислинг сгнил, сир!» Эта эпидемия закончилась столь же внезапно, как и началась. Были рождены перевертыши-эталоны, образцы, превзойти которые невозможно. Один из моих сослуживцев где-то наткнулся на бессмертную фразу: «Леша на полке клопа нашел». Другой же коллега сам сочинил настоящий шедевр: «Веер веял для евреев». Согласитесь, как не пыжась, выше не прыгнешь.

Должно быть, сентенцию про веер для евреев я пробормotal вслух, потому что Натан переспросил:

– Что-что? Что ты сказал, молодой человек?

– Ничего. Это я про себя, – ответил я и назвал свое имя.

Натан кивнул мне благожелательно и, тут же потеряв ко

мне интерес, повернулся к Шурке. Я же получил возможность внимательнее рассмотреть нового знакомого.

Это только на первый взгляд Натан казался человечком – из-за малого роста и несоразмерного рубильника, который доминировал на его лице. На самом деле, несмотря на брюшко, он был ладно сложен – крепкий, кряжистый, этакий малогабаритный автопогрузчик. Этот тип хорошо мне знаком по славной когорте евреев-атлетов тридцатых – сороковых годов, из которой вышел наш великий силач Григорий Новак. В каждом движении Натана ощущалась уверенность и сила, будто он сию минуту готов выйти на помост, зачерпнуть мозолистыми ладонями жменю белой магнезии, наклониться над штангой вдвое тяжелее его самого и намертво, в замок, охватить короткими толстыми пальцами холодный железный гриф. Кстати, на пальцах Натана я заметил накладки-перстни и вытатуированные на костяшках крестики – принятые в блатном мире отметки, свидетельства о ходках в зону, то есть об отсидках. Крестиков было три.

Лицо Натана, при всей своей уродливости, тоже не казалось карикатурным, а, напротив, выглядело значительным, исполненным достоинства и силы. Смотрел он на собеседника с интересом, можно сказать, даже доброжелательно. Но неожиданно вспыхивал косящий правый глаз, и выражение неумовимо менялось – взгляд становился злобным, угрожающим.

– Ты, молодой человек, погуляй пока по цеху, на девок

погляди, тут у меня есть очень миленькие шиксы, – вновь обратился ко мне Натан. – А мы пока с Александром о нашем маленьком бизнесе потолкуем. Иди, иди, не стесняйся, выбирай. Если какая никейве понравится, получишь подарок от старика, от папы Натана.

Не дожидаясь ответа, он повернулся ко мне спиной и зашел в дальний конец цеха, где, очевидно, был его кабинет. Шурка молча последовал за ним. Я же, задетый обращением «молодой человек» – Натан казался старше меня всего на несколько лет, ему никак нельзя было дать больше пятидесяти, ну пятидесяти пяти, – а еще пуще задетый предложенным подарком, все же отправился бродить по цеху.

Мне и прежде приходилось по журналистским делам бывать на сугубо женских производствах – швейных, прядильных, что там сборочных, – но я так и не привык к сотням любопытных, изучающих, оценивающих, насмешливых женских глаз, которые не отпускают тебя, пока, красный от смущения, ты не выскочишь из цеха. Не будучи специалистом в психологии толпы, а тем более толпы женской, я все же беру на себя смелость утверждать, что работницы разглядывают забредшего в их царство мужчину-чужака, если можно так выразиться, под двумя углами зрения. С одной стороны, они прикидывают, какого уровня начальство удостоило их посещением и чего можно ожидать от этого визита – наш народ, кстати, не привык ждать от начальства ничего хорошего; другой же угол зрения – чисто женский: что кроется у

чужака под отутюженным костюмом и каков он, чужак, будет, коли его уложить в койку. Тут – это я о втором угле зрения – нет ничего суперэротического, просто женская толпа, занятая однообразным и, как правило, малоинтересным трудом, охотно отвлекается на внешние раздражители, причем самым простым, рефлекторным образом. Самая-самая что ни на есть скромница, которая на танцах забивается в угол и глаз на парня не поднимет, здесь, в цехе, оглядит тебя с ног до головы и оценит, правда, встретившись с твоим взглядом, тут же смутится, вспыхнет и потупится. В общем, я никогда, оказавшись в фокусе внимания сотен работниц, не впадал в эйфорию, не относил их интерес на счет своих мужских достоинств, понимая, что так они станут разглядывать любое человеческое существо противоположного им пола. Тем более что глядели они на меня в большинстве своем насмешливо. Ох, и умеют же наши бабы поставить возмнившего о себе мужика на место!

Здесь все было так и не так. Натановы работницы внимательно разглядывали меня и долго провожали глазами, в которых читалось и обычное житейское любопытство – зачем это к нам чужак пожаловал? – и досужий женский интерес, иными словами, налицо были те самые два угла зрения. Только не было в их глазах российского бабьего озорства и насмешливости – скорее, ожидание и тревога.

А хорошеньких девчонок, даже настоящих красоток, была и впрямь тьма-тьмушая. Казалось, мастерицы пряно-благо-

уханной восточной любви из Манилы, Бангкока и Гонконга, не дождавшись у себя на родине, хлынули сюда в Нью-Йорк, чтобы здесь перехватить меня, желанного. Однако я решительно отбросил игривые мысли и обратился к производству, которым были заняты восточные красавицы. Шили они всякую яркую ерунду: кофточки, маечки, свитерочки, нелепые трикотажные трусы до колена, чрезвычайно модные, как я успел заметить, среди нью-йоркской молодежи. Шили быстро, сноровисто, трусы, пара за парой, буквально отскакивали от зингеровских машинок.

Разглядывая швей (белошвеек, а?) и их работу, я дошел уже до конца цеха и тут увидел среди малорослых и худощавых азиатских женщин даму со всей очевидностью иного этнического происхождения и социального статуса. Она выделялась не только молочно-белой кожей и ярко-рыжими всклокоченными волосами, не только полной, без талии, фигурой, но хозяйской уверенностью и начальственной властью манер. Рыжеволосая держала в одной руке кусок ткани, а в другой длинные ножницы и быстро-быстро, не примериваясь не то что семь раз – ни разу, выстригала ими, словно по лекалу, плавные обводы кроя.

– Вот как надо кроить, вот так... А что вы делаете – руки-ноги вам оторвать... Столько отходов, вейз мир! Мы так по миру с Натаном пойдем, – причитала она на диковатом даже для моего слуха английском. – Не пяльтесь по сторонам! Для кого я показываю? Для Пушкина?

То ли имя поэта действовало, то ли пронзительный крик хозяйки, но работницы скучились вокруг рыжеволосой, всем своим видом показывая покорность и внимание. Тут она заметила меня.

– Вы кого ищете, мистер? – спросила она подозрительно.

– Никого не ищу. Я приезжий, из Москвы. Господин Натан попросил меня подождать.

– Ах ты, Боже мой! – вскричала рыжеволосая, переходя на русский. – Наташа всегда так – бросит гостя, а сам... Ну что за человек! Пойдемте, пойдемте...

Отшвырнув ножницы, она подхватила меня под локоть и поволокла через цех в кабинет Натана.

Собственно, это был никакой не кабинет, а конторка без окон. Мне это понравилось: я убежден, что для ведения самых серьезных дел достаточно письменного стола, стула и телефона, а огромный и богато обставленный кабинет свидетельствует скорее не о процветании фирмы и деловитости руководителя, а о его вздорных амбициях. Дело у Натана было явно не малое, а он, молодец, управлял им, и, видимо, недурно, из такой вот клетушки.

Шурка и Наташа, как называла Натана его рыжеволосая супруга Дора, должно быть, уже заканчивали разговор о своем маленьком бизнесе. Когда мы вошли, Шурка подписывал какую-то бумагу, а хозяин кабинета, положив ноги в рыжих стоптанных сандалиях на стол, развалился в обшарпанном кресле и ковырял в зубах зубочисткой.

– Ну как тебе, молодой человек, мой цех? Конечно, это не швейная фабрика «Большевичка», но кое-что. А? – Натан явно пребывал в прекрасном расположении духа.

Из вежливости я похвалил цех, но все-таки не удержался – обращение «молодой человек» крайне меня раздражало – и заметил, что швейные машинки, должно быть, сделаны при жизни старика Зингера. Натану я был безразличен, поэтому, наверное, он не обиделся и, продолжая ковырять в зубах, сказал:

– Я до последней своей ходки такими машинками весь Энск обшивал и еще полстраны. Когда б эти шмараки меня не засадили, и на Европу бы вышел.

Услышав название города, который был одет тщаниями Натана, я встрепенулся. Я не раз бывал там, хорошо знаю этот город, со мною послучалось в нем немало хорошего и похуже. Конечно, он вовсе не Энск, так города не называют, но настоящее его название я по ряду сугубо личных причин утаю.

– Ах, так вы из Энска... – обрадовался я, будто встретил друга юности.

– Оттуда, оттуда. Родился в Энске, в зону из Энска ходил, с Доркой познакомился, выездную визу получил. Эх, Энск-Шменск... – Казалось, все это Натан говорил самому себе, но вдруг он встрепенулся и спросил: – А ты что, бывал у нас в Энске?

А то нет! Тогда я не понимал, что происходит. Только

много позже осознал, отчего меня вдруг понесло: просто мы, россияне, встретив за бугром земляка, слегка чумеем и не задумываясь готовы раскрыть ему свои объятья. И я поведал Натану о своих многократных поездках на нефтехим и на шинный, о гулянках в полу-люксе гостиницы «Восток» и в ресторане «Заречный», не удержался и прихвастнул, как был принят в горкоме, когда в московском журнале вышел мой очерк о герое Степане Крутых.

– Ты знал этого хазера, эту грязную свинью, этого вонючего ублюдка? – вскричал Натан, с поразительной ловкостью и быстротой сбросив со стола коротенькие ножки. Сейчас его никак нельзя было назвать ласковым именем Наташа – от бешенства к лицу прилила кровь, глаза горели лютой ненавистью. – Два раза герой, холера на голову его родителей! Бронзовый бюст в скверу поставили, так думал, что Натан до него...

Словно почуяв, что едва не сболтнул лишнего, Натан осекся и замолчал. Дора посмотрела на мужа и осуждающе покачала головой.

Я понял, что дважды герой труда и заодно мой литературный герой чем-то изрядно досадил Натану, но расспросы считал неуместными. Наступила неловкая пауза, которую первым нарушил Натан:

– Ты, молодой человек, не обращай внимания. Это у меня, старика, такой уж характер. Натан быстро рассердится, да быстро отойдет. – Он широко улыбался, показывая золотые

зубы, вставленные конечно же еще в Энске-Шменске: в Америке таких не делают.

Я вдруг почувствовал, что отношение Натана ко мне резко изменилось: он встал, подошел ко мне и заглянул в глаза.

– Значит, говоришь, бывал у нас и всех знаешь. Ай да молодец! А на Болотной бывать приходилось?

Я кивнул.

– Ну вот видишь! И Болотную знаешь! Вот там на Болотной мы с Доркой и жили. Дом семь, это где собес, прямо за пивным ларьком. Знаешь, да? А в доме восемнадцать, в подвале, у меня цех был. На работу пешком ходил, домой обедать ходил...

Что ж, подумал я, и этому бандиту, впрочем, бандиту симпатичному, не чужда ностальгия, не чужда сентиментальность – приятно вспомнить даже о заплеванном пивном ларьке на родине, которая щедро поила березовым соком на свободе и прижимисто – баландой в зоне. Расчувствовался мужик, из Натана превратился в Наташу. А я для него – живая весточка с малой родины, кусочек этой самой Болотной, с собесом, подпольным цехом, замусоренными дворами, ржавыми гаражами. Он, должно быть, встретил бы как родного и уполномоченного районного ОБХСС, которому, наверное, ежемесячно отмусоливал, не мог не отмусоливать, изрядный куш.

– А ты, Дора, чего молчишь? – набросился Натан на рыжеволосую супругу. – Почему не приглашаешь молодых людей

на вечер? Ты что, забыла? У отца твоих детей сегодня день рождения! – И, обращаясь ко мне и Шурке: – Не ахти какой праздник, азокен вей, с каждым годом ближе к могиле. А-а-а... ладно. Посидим, поговорим, немного выпьем, немного закусим, икорка там, то-се... Несколько родственников, друзья, только, знаете, самые близкие. Так что я вас жду, мы с Дорой очень обидимся, если не придете.

Натан величественным жестом прервал наши с Шуркой поздравления и нажал кнопку на своем письменном столе. Через минуту восточная рабыня подала чай в роскошном китайском сервизе.

Мы ехали к себе домой в Бруклин, и Шурка все пытался понять, с чего это вдруг мы оказались с ним в числе самых близких людей Натана.

Натан Казак (я аж подпрыгнул на сиденье: и фамилия – тоже перевертыш!) был известен в эмигрантских деловых кругах крайней удачливостью в бизнесе и предельной жесткостью в отношениях с партнерами. Приехал он сюда лет десять назад, неплохо, по советским, разумеется, меркам, упакованный: удачно продав свой подпольный цех в Энске, он умудрился перекинуть в Штаты не менее полутора ста тысяч плюс посуда, мебель, ковры, даже небольшой морской пейзаж (двадцать на тридцать, холст, масло, предположительно Айвазовский). Но все эти советские богатства здесь вызвали лишь снисходительную улыбку. Старики эмигран-

ты, приехавшие сюда в конце шестидесятых (анекдот: «Вы знаете, кто был первым эмигрантом? Нет? Так слушайте – Юрий Гагарин!») – «Почему?» – «Да он же первым сказал «поехали»!»), чувствовавшие себя здесь едва ли не пионерами с «Мэйфлауэр», посмеивались над родшильдами из Союза, переиначивая старую одесскую шутку: «Это в Гомеле вы хохим, а в Нью-Йорке – еле-еле поц».

Натан не хотел быть в Нью-Йорке поцем – ни полным, ни еле-еле. Он не стал очертя голову бросаться в здешний мелкий бизнес – все эти лавчонки, ресторанчики, похоронные бюро, брокерские конторки, а осмотрелся, нашел единомышленников и взялся за настоящее дело. Этим делом стала поистине гигантская афера с нефтью и нефтепродуктами, о которой подробно писали газеты – больше американские, но немного и наши. Она была раскрыта, и ее организаторы из так называемой русской эмиграции, а вместе с ними и мелкая сошка – рядовые исполнители, получили сроки на полную американскую катушку. Вышли сухими из воды лишь несколько человек, среди них Натан Казак. Как ему это удалось? Этого никто не знал. Сам же Натан в редкие минуты откровенности любил напустить туману: в Энске-Шменске и не из таких передряг выпутывались, а тамошняя ОБХСС даст сто очков вперед здешнему фэбээру, в общем, хорошая еврейская голова всегда смекнет, кому, когда и сколько дать.

Впрочем, Натан, поговаривали, умел не только отстегивать кому надо, он мог, коли потребуется, не раздумывая до-

стать пушку из подмышечной люльки. Ничего себе цеховик из провинциального Энска! Брайтон-Бич слухами полнится. Один из слухов такой: в разгар нефтяной аферы ее организаторы зафрахтовали танкер-стотысячник и погнали его на Ближний Восток за левой нефтью, подобно тому как в Союзе за бутылку нанимали забулдыгу-шофера перебросить левый товар знакомому галантерейщику. Предприятие было рискованным, и возглавлявший экспедицию Натан распорядился установить на палубе пяток пулеметов. Несколько раз дело доходило до перестрелки, и тогда Натан самолично ложился у турели. Этот слух он не подтверждал и не опровергал – только загадочно улыбался. А вы бы стали добровольно брать на себя такое?

Сейчас, прикидывал Шурка, Натан тянет этак на двести – двести пятьдесят лимонов, а может, и больше – доподлинно этого никто не знает. Помимо фабрики, где мы только что побывали, известно, что он владеет домами на Брайтоне и на паях с кем-то нефтеналивными судами среднего водоизмещения, а также скупает по дешевке полуразрушенное жилье, считай, шеллс – пустые коробки, в Бронксе, очевидно полагая, что рано или поздно недвижимость в этом районе пойдет вверх. Нюх у Натана на такие дела, как у пойнтера на дичь, так что были бы у Шурки деньги (он сказал «свободные деньги», давая мне понять, что вообще деньги-то у него водятся, но они в обороте), он и сам вложил бы в Богом забытый Бронкс. Вообще же этот денежный мешок не гнушается и ме-

лочами, если они сулят мало-мальски приличный прибыток. Например, Натан охотно покупает у Шурки скелеты, которые отбраковывает солидный американо-канадский партнер. Между прочим, не чье-нибудь, а именно Натаново газетное объявление натолкнуло Шурку на блестящую коммерческую идею начать остеологический бизнес, привело его к долгожданной золотой жиле. Зачем ему эти кости, одному Богу ведомо, но это не Шуркина забота. Натан платит наличными, вот и сегодня слегка авансировал, а задаток никогда не помешает... По моей просьбе мы приехали на Брайтон-Бич за полчаса до назначенной Натаном встречи в ресторане – мне хотелось еще раз прогуляться по новому нашему Порт-Артуру.

Вроде бы и смотреть не на что: коротенькая, узкая, запруженная автомобилями улочка, укрытая сверху эстакадой вылезшего здесь из-под земли на поверхность, на свет Божий мрачного нью-йоркского трейна, чуть пахнувшая плещущимся рядом океаном, а больше чем-то вкусным и сытным – то ли свежесваренным, еще горячим борщом, то ли сложной смесью добротных деликатесов, из которой разве что самым современным хроматографом можно выделить отдельные компоненты: вот это пик паюсной икорки, а это – белужий бочок, а это – охотничьи, как были раньше, сосиски. Так, помнится, пахло в годы моей юности в Елисеевском магазине на Тверской.

Смотреть как будто не на что, а – целый мир: яркий, кра-

сочный, немного смешной, чуток карикатурный, но трогательный. Да, в Москве не врал – вот она, знаменитая вывеска: «Мы имеем свежий карп». Это возле небольшого деликатесного, куда едут гурманы со всего необъятного Нью-Йорка, хотя здесь тебя иной раз и обхамят, как в Москве, Одессе или Смоленске. Меня, было дело, и обхамили: «Вам, видите ли, другую селедочку, а эту куда мне девать, в жопу запихнуть, да?» Круто! Так и у нас не скажут. Впрочем, пусть обхамят по-нашенски – старые привычки живучи, – но ведь они и впрямь «имеют свежий карп» и еще много-много свежайшей всякой всячины, как выглядит которая мы давно уже забыли. А у их соседей, магазины по всей улочке дверь к двери, свой «свежий карп»: телевизоры, магнитофоны, носильное барахло, то, что у нас хозтоварами называется, выпивка со всего света и наша в том числе, в общем, нет разве что черта-дьявола. При этом, поверьте, ничего покупать во-все и не хочется – уж больно много всего.

Впрочем, они-то покупают. «Лиечка, детка, постой здесь, покарауль сумки, пока я делаю шопинг...» Со вкусом, в свое удовольствие «делают шопинг». Или просто гуляют погожим вечером – людей смотрят и себя показывают. Прошли три старика в соломенных шляпах, похоже, еще из ЦУМа, у всех троих на пиджаках внушительные сколки орденов да по ордену Отечественной войны. Говор московский – будто не на Брайтоне, а на Сретенке. Девчушки пробежали, так они по-английски щебечут, должно быть, русский у них с за-

метным акцентом – ничего удивительного: говорить, наверное, учились уже здесь, а может, и родились в Нью-Йорке...

Нашему брату приезжему здесь можно провести целый день – не наскучит. Но поспешили в ресторан, заставлять Натана ждать, по мнению Шурки и Риты, было неловко.

Знаменитый ресторан на Брайтон-Бич – тоже ничего особенного: зал просторный, интерьер современный, много дерева, но в общем не ахти, к тому же неудержимо выпирает российская провинция: да, до боли знакомые кадочки с пальмочками-фикусами-кактусами. Нет разве что плюшевых портьер.

Натан с Дорой встречали гостей в холле. Мы церемонно поздравили виновника торжества и вручили подарки.

Кстати, из-за подарка я сильно перенервничал.

В самом деле, что такой, как я, может подарить человеку, цена которому четверть миллиарда? Дома я наверняка придумал бы подарок-шутку, приятный одариваемому и доступный мне. Но здесь?

Когда я поделился с Шуркой своей заботой, он рассмеялся:

– Тоже проблема! Не держи в голове – здесь просто дарят бабки, в конверте.

Час от часу не легче: какова же должна быть сумма, приличная для вручения такому богатею? Шурка твердо сказал: важно внимание, а не сумма, по полсотне с носа вполне довольно – Натана и десятую тысячами не удивишь, а наши воз-

возможности он прекрасно себе представляет.

Вообще-то говоря, пятьдесят долларов для меня тоже сумма немалая, но я положил ее в конверт и в холле ресторана неловко протянул Натану. Тот благосклонно кивнул и небрежно сунул конверт в карман.

Вскоре после нашего прихода подтянулись последние гости, и Натан пригласил всех в зал. Стол был накрыт человек на двадцать, и Дора как хозяйка вечера рассадил нас, видимо, по тщательно продуманному плану. Поближе к виновнику торжества разместился люд постарше: плохо сидящие дорогие костюмы, много апломба и золотых зубов, на дамах – драгоценности с очевидным перебором и меха. В общем, те же персонажи, что и у нас, когда собираются в своем кругу цеховики, директора магазинов, кладовщики баз (не военных баз, а продовольственных), снабженцы больших заводов, словом, хозяева жизни образца пятидесятых – шестидесятых годов. Мне не раз приходилось бывать на таких застольях.

За столом Натана в этой традиционной компании выделялись две пары: скуластый мужичок татарского типа с курносой и голубоглазой женой и элегантная темноволосая пара в безукоризненных, словно прямо с показа моделей, костюмах. Шурка шепнул мне, что скуластый мужичок – персона весьма важная, поскольку представляет здесь какой-то российский нефтяной гигант, а темноволосая пара – очевидный признак смычки итальянских мафиози с их примерны-

ми русскими учениками, которые со дня на день превзойдут своих учителей.

Шурка, я и между нами Рита были помещены посредине длинной стороны стола, как бы отделяя старшее поколение гостей от молодежи. Молодежь же была представлена тремя дочерьми Натана и Доры, рыжими, носатыми и неуклюжими девицами от семнадцати до двадцати лет, которые, впрочем, вели себя шумно и заносчиво, Шуркиными близнецами и еще несколькими девами и юнцами, причем двое из числа последних были почему-то в черных шелковых ермолочках. На молодежной стороне стола, прямо напротив Натана и Доры, сидели еще двое парней: кряжистый армянин с приплюснутым носом и смятыми, пережеванными ушами и высокий сероглазый славянин, единственный среди гостей в смокинге, его светлые длинные волосы на затылке были связаны черной ленточкой в конский хвост, так, кажется, называется эта прическа у нас, а по-английски – пони-тэйл. Еще до Шуркиных объяснений я догадался, кто эти двое, – уж больно красноречив был их облик, к тому же слева под пиджаком армянина выпирала такая гуля, что оставалось лишь гадать, спрятан там у него наш родимый «калаш» или какой-нибудь непатриотичный «узи».

Ну а сам стол, сам стол был хорош. Жирные антрацитовые пласты паюсной икры, янтарные отвалы семги, бесстыжие говяжьи языки, дрожащие тела студня, груды салатов-винегретов, зелени-шмелени, овощей-фруктов. Собственно го-

вора, нас, советских, всем этим не удивишь: когда надо, все это невесть откуда появляется и на наших столах. Но не в таких количествах, не с такой естественностью, доступностью и недостижимым для нас разнообразием. Вы понимаете, что я хочу сказать? Хорошая наша хозяйка и к новогоднему столу раздобудет свежие помидорчики на Центральном рынке по цене тройской унции золота и этим ограничится, и будет счастлива. А здесь подадут к столу голландские помидорчики, и израильские, и калифорнийские – кому какие больше нравятся. Разумеется, стол у Натана был не просто хорошим, это был хороший еврейский стол: и гефилте-фиш, и печеночки, и форшмачки, и какие-то салатики прямо из Израиля. Это я только о закусках, которые мы, гости, застали, когда уселись за стол; потом были бесчисленные, я сбился со счета, перемены.

Однако все расселись. Пожилые гости с вожделением поглядывали на закуски и потирали руки, предвкушая гастрономические наслаждения. (Я же, странное дело, не испытывал ни малейшего аппетита, хотя в тот день и не пообедал. Черт его знает, может, и в самом деле не так уж и сладок хлеб чужбины, а может, просто слегка замутило меня от жирного изобилия. Но потом ничего, после второй-третьей рюмки аппетит все-таки с некоторым опозданием, но появился...) А Шурка разглядывал бутылочные этикетки. Он, большой знаток выпивки, похвалил ее качество, но не преминул отметить некоторую эклектичность подбора: отличный «Бур-

бон» соседствовал со «Столичной», элитарный французский коньяк – с нашими «тремя звездочками», а среди бургундского торчали бутылки «Хванчкары» и «Кинзмараули» – тут тебе и пыль в глаза самым дорогим, самым отборным, и дань эмигрантской ностальгии.

Хлопнули пробки, официанты разлили шампанское в хрустальные бокалы. Поднялся сидевший рядом с Дорой седенький еврей (похоронное бюро плюс два магазина – шепнул мне на ухо Шурка) и принялся за жизнеописание Натана. На мой вкус, биография излагалась излишне комплиментарно – выходило вроде бы так, будто в сквере у энского горкома надо было ставить бронзовый бюст Натана, а никак не моего героя, знатного сборщика большегрузных шин Степана Крутых. Минут этак десять владелец похоронного бюро уделил энскому периоду жизни Натана, при этом он деликатно обошел ходки в зону, лишь смутно намекнул на тяжкие испытания, которые преодолевал на родине виновник торжества. Перейдя к нью-йоркскому периоду, похоронщик сообщил, что дорогой наш друг приехал в Америку голый и босый (тут старики потупились – они-то знали, с чем приехал сюда Натан), но упорный труд для счастья детей (потупились рыжие дочери) позволил ему быстро подняться и занять подобающее место на новой родине. Мазлтов, дорогой наш Натан! Долгих тебе лет, и здоровья, и благополучия, и процветания – на радость дорогой нашей Дорочке, Бог тебе дал такое сокровище, и твоим дочкам-красавицам (потупи-

лись все), и сотням, тысячам бедных людей, которым ты так щедро, отказывая себе во всем, даешь работу, хлеб и крышу над головой!

Седенький расцеловался с Натаном, потянулись к нему с бокалами и другие, а те, кто не мог дотянуться, повскакивали со своих мест и пошли чокаться. Мы тоже встали и направились к Натану.

Шурку и Риту он ничем не выделил среди прочих гостей – чокнулся и с улыбкой кивнул, однако меня, к моему удивлению, притянул к себе, обнял за плечи и прошептал в самое ухо:

– Спасибо, что уважил старика. Натан сразу видит, кто ему настоящий друг. Мы с тобой еще поделаем дел, чтоб я был так жив.

Итак, в первый день знакомства я стал настоящим другом забавного злодея. Не стану врать, что это меня сразу обеспокоило и заставило задуматься о последствиях скоротечной дружбы и делах, которые мне предстояло поделать с Натаном, но я был озадачен проявленным ко мне вниманием и догадывался, что за ним что-то кроется. Должно быть, самые проникательные из гостей заметили, как Натан со мной шептался; моя котировка за столом сразу поднялась – во всяком случае, представитель братской мафии пристально посмотрел на меня, склонился к своему соседу, который до этого переводил ему первый тост на английский, и что-то спросил. Я же не удержался от остроты и тихонько, чтобы не услыша-

ли чужие, сказал Рите и Шуре: мол, итальянский бандит мог бы выучить русский только за то, что «им разговаривал» Натан.

Стол вел седенький. Дав гостям слегка закусить после своего тоста, он поднял скуластого мужичка, представляющего здесь российскую нефть или что там еще. Тот изрядно смутился, но все же забормотал что-то официальное насчет сотрудничества двух великих стран, в котором кровно заинтересованы деловые круги по обе стороны океана, которые, то есть деловые круги, вовсе никакие не круги, а живые люди, которые, то есть среди которых есть такие замечательные личности, как господин Казак, который... Запутавшись в придаточных, мужичок запнулся, покраснел и выпалил: «Будем здоровы!»

Вместе со всеми я выпил хорошую стопку водки и тут-то наконец увидел немыслимо аппетитные закуски глазами пропустившего обед здорового человека. Я навалил себе полную тарелку – всего, до чего смог дотянуться, – намазал ломоть белого хлеба маслом, сверху от души положил шмат паюсной икры, зажмурился от удовольствия и откусил. И тут же услышал голос седенького:

– А теперь мы послушаем нашего замечательного московского гостя, который сделал нам очень приятно, потому что не пожалел своего драгоценного времени и прилетел на самолете в наш маленький Нью-Йорк.

«Брайтонский остряк, – подумал я, – ишь ты, наш малень-

кий Нью-Йорк... Но сразу заметил, что весь стол смотрит на меня. Боже мой, так замечательный московский гость это же я!»

– Просим, просим... Давайте-ка все попросим! – голосом затейника из парка культуры имени отдыха гундел седенький.

Попросили, захлопали в ладоши. И не только за нашим столом, но и за соседними. Видимо, Натана здесь знали – во всяком случае, от чужих компаний нам уже присылали шампанское и коньяк: с нашего стола – вашему столу!

Мне продолжали хлопать, а Шурка, перегнувшись через Риту, отчаянно шипел мне в ухо:

– Ну давай же, старик, вставай! Неудобно!

Я поднялся, не догадываясь еще, о чем буду говорить. Все замолкли, уставившись на меня.

Есть такой шаловливый перифраз: взялся за грудь – говори что-нибудь. Следуя этой мудрости, я противным бодрым голосом велел наполнить бокалы до краев или даже через край, причем кому здоровье позволяет, наполнить напитками крепкими, настоящими, а не этой сладкой шипучкой, а когда бокалы были наполнены, произнес короткий, но донельзя лживый тост. Я, увы, не могу, как большинство здесь собравшихся, гордиться многолетней дружбой с господином Казаком, счастливый случай лишь сегодня свел меня с этим замечательным человеком, его доброй и верной спутницей, его милыми дочерьми. Но и нескольких коротких часов ока-

залось достаточно, чтобы ощутить теплоту, которую он излучает, которая покорит любой холод, любые расстояния, которая, верю, будет греть меня долгие-долгие годы, когда я вернусь домой, греть сильнее, чем греет, сгорая, топливо из самой лучшей нефти (я улыбнулся нефтяному мужичку), чем греет самый большой банковский счет. Нам всем повезло, что мы оказались в облаке этого тепла (во загнул!) – спасибо тебе за это, дорогой Натан!

Я «тыкнул» умышленно: во-первых, так теплее и интимнее, недаром у гроба говорят «спи спокойно, дорогой товарищ, пусть земля тебе будет пухом», а не «спите» и не «вам»; во-вторых, я рассчитывал таким образом выровнять свои отношения с Натаном, избавиться от подчиненности, встать с ним на одну доску. Как впоследствии оказалось, мой расчет был наивен. Но тост приняли хорошо – все долго хлопали, Дора прослезилась, а Шурка благодарно посмотрел на меня. Не было никаких сомнений: с моей помощью он набирал очки в отношениях с Натаном. По крайней мере, ему так казалось.

Тут у меня за спиной грянул оркестр, слаженный и на мой, правда, не очень компетентный, слух довольно профессиональный, – ничего удивительного: сколько первоклассных скрипок, клавишных, ударных и духовых понаехало сюда из Союза, выбор, слава Богу, есть. Только было в его звучании что-то старомодно-провинциальное, этакое оркестровое переложение мотивчика эстрадных куплетов – помните: кон-

цертино, Шуров и Рыкунин, «с Пал Васильичем вдвоем мы частушки вам споем»? Но играли они, ничего не скажешь, громко и от души. Шуркины близнецы церемонно пригласили противных Натановых дочек, думаю, выполняли отцовскую инструкцию. Молодежь пошла танцевать. Из молодых за столом остались только Натановы бодигарды: Грегор с жеваными ушами и Олег с конским хвостом. Они вообще за весь вечер ни разу не поднялись со своих мест, даже в туалет. Служба!

Ну а старшее поколение продолжало выпивать и закусывать, Дора озабоченно верещала «ой, вы ничего не кушаете!», седенький острил и насиловал тостами. Но застолье уже пошло по своим рельсам: компания разбилась на группки, в которых выпивали приватно, мужчины степенно беседовали о моргиджах и лоанах, дамы – о модах и дороговизне. Принесли горячее, и молодежь вернулась к столу, чтобы не упустить свое. И вдруг зал грохнул аплодисментами. Я обернулся.

На сцену, где оркестранты, словно и не играли уже добрый час, снова вразнобой пробовали свои инструменты, вспрыгнул высокий человек в ладно сидящем светлом костюме. Густые волосы, хорошее мужское лицо, очень много, чтобы не сказать слишком много, усов. Под овацию зала человек размашистым шагом подошел к микрофону.

– Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие гости! Надеюсь, вы не обидитесь, если я вам немного спою о наших с вами де-

лах. Как поется в одной из моих песен, позвольте с вами разговорчик замесить, – приятным, слегка хрипловатым баритоном сказал он, и тут же оркестр без раскачки, бодро, даже лихо, как концертину в руках знаменитого эстрадника-куплетиста, врезал первые такты вступления, а баритон, не дожидаясь, когда оно будет доиграно, решительно ворвался в мелодию и перекрыл покорно стихших музыкантов.

Я даю сигналы SOS:

К нам приехал пылесос —

Первый муж моей второй жены...

Зал вздохнул от радостного узнавания – и любимого шлэгера, и, что важнее, хорошо знакомой комической ситуации. А баритон с усами, похохатывая, перечислял своих гостей-пылесосов: «даже дедушка Матвей хочет видеть наш Бродвей, приезжает с бабушкой весною...» – и их бесчисленные покупки. «Из Союза к нам летят, покупать тряпье хотят там, где покупает Рейган с Нэнси... ха-ха-ха». В общем, обо-брали пылесосы доброго бедолагу, и остался он «со своим большим еврейским носом», ой-вэй!

Майкл Джексон спятил бы от зависти, услышав такую о-ва-цию и истошные крики: «Виля, валяй нашу!» Как я понял потом, все песни усатого были «наши», но он безошибочно выбрал ту, которую зал в эти минуты требовал от него, и запел с доверительной, простите, какой-то даже утесовской интонацией:

Я приехал сюда, захотел миллион,
Очень быстро его заработал.
Я закона не знал, я нарушил закон,
И меня повязали в субботу.
Но родные друзья не забыли меня,
И охрану они подкупили.
Просидел за решеткой я только три дня,
А потом за свободу мы пили...

Я подумал было, что это шутка артиста, что песня не всерьез, и готов был рассмеяться, но вовремя спохватился: блатную белиберду слушали тихо и задумчиво. Наш тамада, этот провинциальный застольный хохмач, сидел пригрюнившись, а на глазах Натана, мне показалось, блеснули слезы.

Интерпол сбился с ног — все ищет меня.
Уверяю, напрасны старания:
Чтобы мне не погибнуть сейчас от огня,
Я водою запасаюсь заранее...
Прокурор и судья
Не дождутся меня —
Не понять им, что я невиновен,
Но компьютеры в памяти прочно хранят
Обо мне много всяких хреновин...

Боже ты мой, жива, стало быть, порожденная годами со-

ветскими великая российская воровская баллада... И не просто жива, а пересекла океан, впитала в себя приметы времени – Интерпол, компьютеры, но при этом Интерпол-то шукает, а в памяти компьютеров не какая-то там унылая информация, а много всяких хреновин.

Я по свету кручусь, замечая следы,
Третий день проживаю я в Чили.
Мне пока что везет – ухожу от беды.
Я не дам, чтоб меня замочили!

Что за прелесть эта рифма! Интересно, кто пишет тексты усатому Виле – сам или...? Вот и я родил нечто вроде «Чили-замочили»!

Песня резко оборвалась, и какие-то секунды в зале было тихо, даже не звякали вилки и ножи. Потом захлопали, но не так неистово, как после шлагера о пылесосах, а вроде бы задумчиво. Однако душевный человек Виля не позволил дорогим друзьям и дорогим гостям долго грустить, он умел миксировать печальное и веселое, минорное и мажорное, так что сразу грохнул ритмичное: «А мне мама запретила встречаться с тобой, говорит, что ты не очень обеспеченный бой...» И парни подхватили девушек, мужчины – дам, и застонал паркет под сотнями ног, обутых в добротную и элегантную обувь.

Лихую песню пел Виля. Мать велит дочке встречаться с парнями обеспеченными: «В нищете, говорит, прозябаю са-

ма». И дочка, обращаясь к другу, сетует: «Был бы ты, мой дружок, ну хотя б ювелир или, скажем, такой небогатый банкир, если б ты бы имел хоть один лимузин, если б ты бы имел хоть один магазин...» Мать не хочет зятя-музыканта — «и при чем тут его золотая душа, если нет у него за душой ни гроша». И знаете, ведь мамаша-то по-своему права. Но у дочери есть сильный контраргумент: «Я сказала ей: мама, боюсь катастрофы, что случилась с моею подругою Софой». Софа-катастрофа, согласитесь, тоже неслабо. А катастрофа у Софы вот такая: позарилась на миллионы, вышла за старика и вот теперь кусает локти. Впрочем, ситуация, видимо, не тупиковая, и потому припев полон оптимизма:

Я обожаю очень овощи и фрукты —
Они богаты витамином е-бэ-це.
И признаю я только свежие продукты,
Знать не желаю о соленом огурце.
И не хочу я никакие миллионы,
И никакой не убедит меня мудрец,
Я ни за что не променяю на соленый
Шершавый, свежий и упругий огурец!

Тут уж зал не танцевал, а плясал. Потому что было отчаянно весело от того, что Софа выбрала все-таки молодость и силу, а не старческую немощь с миллионками. А миллионы все едино придут, никуда не денутся. И еще подкупало Софино озорство: никому не надо было объяснять, что имеет

она в виду, распевая про свежий и упругий огурец. К тому же, для полной ясности, и шершавый – кто не знает нашего «загнать шершавого». Ай да Софа! Ай да Виля!

Я сам не заметил, как стал отстукивать ритм ладонью по столу, но тут услышал свое имя. Повернул голову и увидел, что Натан манит меня пальцем.

Я встал из-за стола и подошел. Натан крепко взял меня за руку и усадил на место Доры, которая отплясывала с седеньким под «шершавого».

– Ты знаешь, – заговорил Натан, впервые назвав меня по имени, – я на тебя сразу глаз положил, как только увидел. Александр говорит, ты статейки пишешь. Я писателей не люблю, их всех купить можно. А тебя, вижу, не купишь.

Я молча согласился.

– Знаешь что, сынок, я сейчас кого хочешь могу купить, с парнусой у меня все в порядке. Могу полицию купить, могу фэбээр купить, за президента не скажу, Натан хвастать не любит, но на сенатора капусты хватит... А ваш брат писатель, так это ж просто даром, дешевле картошки на Первомайском рынке...

Натан замолчал и прислушался. Виля пел грустную историю про супружескую измену: «Поступила она не кошерно, поступила она, как свинья. Был в Одессе я мужем примерным, рогоносец в Америке я. Я от ревности пью много суток и по Брайтону грустный хожу. Здесь неверных стреляют, как уток, – я пойду пистолет заряджу...» Видимо, решимость об-

манутого мужа, у которого от горя «голова словно перхоть бела», Натана вполне удовлетворила. Он согласно кивнул и продолжал:

– Да, о чем я говорю? А! С Натаном не надо ссориться, с Натаном лучше дружить. Тут один шмак хотел меня немного употребить – на сто пятьдесят кусков. Он теперь имеет большие цоресы, я ему не завидую. А мои друзья, – широким жестом он обвел стол, – мои друзья за Натаном, как у Христа за пазухой, так говорят гой? Ну, в общем, как за каменной стеной, чтоб я был так здоров. О чем хочешь меня проси, Натан для тебя все сделает.

Я ответил, что мне, слава Богу, ничего, собственно, не надо, у меня все в порядке, спасибо за доброту, а больше всего на свете я ценю его дружбу и расположение. Мой ответ был в духе сказки о всесильном владыке и скромном добродетельном бедняке, который ничего не просит у сильных мира сего, но в результате получает все мыслимые блага, а корыстные просители, напротив, как сказал бы Натан, одни болячки.

– Молодец! И я такой, никогда ничего не прошу, – восхитился моим ответом Натан. – Знаешь что, ты говорил, что бывал в Энске, да? И даже этого мамзера знал, с шинного, которому цацку из бронзы отлили... – Косой правый глаз Натана вспыхнул ненавистью. – У меня в Энске кое-какие дела остались. Я хочу тебя попросить, если надо будет – съездишь, а? Нет-нет, там никаких гешефтов, так, мелочи, личные дела... Не в службу, а в дружбу. О расходах, какие там

расходы, не держи в голове. Все за мой счет. Ну и ты понимаешь, за Натаном не пропадет...

А почему бы не уважить Натана, почему бы не махнуть в Энск? Побродить по улицам, посидеть на набережной. Просто так, без дела, без визитов в горком, без обрыдшей ходьбы по цехам, отделам, парткомам-профкомам и всей этой связанной с моим ремеслом тягомотины. Повалиться с книжкой в гостинице, попить пива в уютном «Заречном», где официантки ходят в домашних шлепанцах. И все это – не за свой счет, не из моего тощего кармана, а из необъятного Натанова.

Я готов был ответить согласием. Но тут из туалета пожаловали свеженапудренные наши дамы во главе с Дорой, и мне пришлось уступить ей ее место, а самому вернуться на свое. Тут, помнится, на стол валом повалил десерт: официанты поволокли фрукты, огромную клубнику, многоцветное мороженое, кофе, ликеры. Пошли новые тосты. Потом опять танцевали, и я, обычно не большой любитель этого занятия, вытаскивал из-за стола и увлекал на бальный паркет по очереди Дору, голубоглазую спутницу нефтяного мужичка, Натановых дочек, плясал даже с черноокой мафиозной красавицей, от которой призывно пахло жутко дорогими, должно быть, духами.

А потом на сцену вернулся усатый Виля:

Я не скажу, что от Москвы совсем отбился,

Мне этот город ближе, чем любой другой,
Но я в Нью-Йорк по-сумасшедшему влюбился,
Как только первый раз ступил сюда ногой.
Нью-Йорк, Нью-Йорк, Америка!
Россия далеко —
От берега до берега
Добраться нелегко...

Тут мною овладела слезливая грусть: захотелось домой, в Москву, от которой, нет же, я совсем, даже самую малость не отбился, но до которой так нелегко добраться, в свою однокомнатную квартиру, к расколотому и склеенному клеем «Момент», обмотанному для прочности изолентой телефону — набрать номер и сказать, что в гостях хорошо, а дома лучше. А Нью-Йорк? Нью-Йорк как Нью-Йорк, хер бы с ним, — захватывай бутылку и приезжай...

Было уже за полночь, когда мы проводили Натана и его семейство до машины — отнюдь не шикарного, кстати, хотя очень большого и вместительного «шеви». Долго благодарили друг друга: мы их за гостеприимство, они нас за то, что не погнушались и пришли. Потом обнимались, потом помогали рассестись на задних сиденьях. Наконец Грегор сел за руль, Олег с ним рядом, и «шеви» отплыл от ресторана. Мы же втиснулись в Шуркин «олдс» и через несколько минут были дома, где нас радостно встретил заждавшийся Жора.

Я еще переодевался в домашнее, когда в спальню зашел Шурка и протянул мне белый конверт.

– Натан велел передать. Не удивлюсь, если там чек. Старик полюбил тебя как родного сына. С чего – ума не приложу.

Я раскрыл конверт и достал его содержимое – пачку хрустящих стодолларовых банкнот. Десять бумажек, ровно тысяча.

Глава 4

Проснулся я со смутным ощущением беспокойства. Открыл глаза, увидел залитую солнцем спальню и сразу же, вместо того чтобы радоваться солнечному утру и свежей голове, почувствовал какую-то тяжесть, как говорит один мой добрый друг, на душе стало несвежо.

Такое у меня нередко бывало и прежде, когда грядущим днем предстояло что-то тягостное: похороны, неприятное объяснение на службе, разрыв затянувшейся связи, визит к зубному. Однако у меня, непутевого, утренняя тревожность чаще всего связана с денежными трудностями: продираешь глаза поутру в самом лучезарном настроении, и вдруг набегают тучки, и не знаешь еще, откуда они пришли, и вдруг вспоминаешь, что сегодня позарез нужны деньги – то ли старый долг отдать, то ли заплатить за телефон, не то отключат, то ли пообедать не на что, – у кого же перезанять?

Впрочем, последние годы я научился жить в мире с самим собой и, отнюдь не разбогатевав, все-таки перестал влезать в долги, как-то выкручивался. И просыпался, радуясь предстоящему дню как младенец. Душевная несвежесть застала меня врасплох.

Итак, вчера хорошо посидели в ресторане на Брайтоне, но я, слава Богу, не перепил и ничего такого не выкинул. Что же тревожит меня, чистого и безвинного? Ба! Да конечно же

Натановы деньги, целая штука в зеленых, сумма для меня просто фантастическая. Это что, подарок? Но я в таких вопросах предельно щепетилен – дорогой подарок приму только от самого близкого человека, и то, если знаю, что смогу с лихвой отдарить. Здесь не тот случай: бесплатный сыр бывает только в мышеловках, а в мышеловку, которую приготовил для меня Натан, попадать никак не следует. В общем, деньги надо немедленно вернуть.

Прокрутив все это в голове, я немного успокоился и пошел будить Шурку.

Он не спал, а курил в постели, стряхивая пепел на пол. И озабочен был не меньше моего.

– Натан – мужик жесткий, в делах просто беспощадный. Не скажу, что за копейку удавится, нет, если почует запахок выгодного дельца, запросто рискнет сотней тысяч, – вслух размышлял Шурка. – Но я не слышал, чтобы он просто так дал кому-нибудь один сраный бакс. Повторяю – просто так. Вчера он отстегнул мне аж двести, но это аванс под скелеты. Зачем они ему? Не знаю – его дела, но раз дал задаток, значит, очень нужны. Однако расписку взял, хотя знает, что я никуда не денусь. Гришка должен прислать товар через неделю, с поправкой на его российское распиздяйство я обещал Натану через две недели. На это время он должен был меня забыть. Так? Однако сразу же, ни с того ни с сего, он полюбил нас обоих как родных и пригласил в кабак. Вывод? Думаю, Моня, думай... – Шурка насмешливо посмотрел на ме-

ня, предлагая отгадать загадку.

(Меня, между прочим, зовут вовсе не Моне́й, а «думай, Моня, думай» – из бородатого анекдота про мальчика и учителя в еврейской школе.)

Моня ничего не придумал, и я промолчал.

– Мыслитель, аналитик... Тебе бы советником президента работать, не нашего, американского, конечно, а вашего, – продолжал издеваться надо мной Шурка. – А думать-то, собственно, и нечего. Ты ему зачем-то понадобился, он что-то унюхал. А вот что? Ладно, рано или поздно это выяснится, а пока он нам с тобой отец родной, и этим грех не пользоваться. Но вот что с этой штукой делать?

– Немедленно вернуть, – твердо сказал я. – Вставай, поехали в цех.

– Не знаю, не знаю... – пробормотал Шурка, задумчиво расчесывая пятерней шерсть на груди. – Может, лучше сначала попробовать по телефону?..

Трубку поднял сам Натан и, узнав меня, изобразил неподдельную радость:

– Привет, привет, дорогой! Как головка? Трещит небось? Ай, молодежь, молодежь... А мы с Дорочкой с восьми уже в лавке, и ничего. Потому что старая закалка, ха-ха-ха... А ты поправься рюмочкой и погуляй на свежем воздухе. Отдыхай и ни о чем не думай, зай гизунд...

Я сказал Натану, что, спасибо за заботу, головка у меня в полном порядке, но я недоумеваю по поводу денег, тут ка-

кое-то недоразумение, так что когда их можно ему завезти? В голосе Натана неподдельная радость сменилась столь же искренним изумлением:

– Ой-вэй, какие деньги, о чем ты, мой мальчик, говоришь? Да у тебя девичья память! Ты же обещал Натану съездить в Энск! Обещал? Обещал. Ты берешь свое обещание обратно? Нет. Слава Богу, а то я бы и не знал, что тогда делать. Ну так это тебе на расходы. Ну? – Натан не давал мне вставить слово. – Тебе в Энск-Шменск нужно? Это мне нужно! Почему ты должен платить? Ты что, миллионер? Рокфеллер? Трамп? Я вижу, какой ты, азохен вэй, миллионер. Но ты держись Натана, и мы твои дела поправим, чтоб я был так жив.

Своей тирадой Натан выбил почву у меня из-под ног, лишил уверенности и решимости. Я смущенно пробормотал, что готов, если Натан настаивает, принять небольшую сумму на покрытие будущих дорожных расходов, но, право же, не столько.

– А я знаю, сколько тебе понадобится? – возразил Натан. – И ты не знаешь. Пусть будут. Останутся – вернешь. Ты же не пропьешь! Ты же не босяк, не какой-нибудь шикер, Натан видит, с кем имеет дело...

Шурка, который слушал наш разговор по параллельной трубке, корчил гримасы и по-лошадиному тряс головой, давая мне понять, что Натан прав, инцидент исперчен и довольно мне ломаться. Я тоже начал склоняться к компромиссу и сказал Натану, что после поездки дам ему полный отчет

о расходах и верну что останется. Ну вот и замечательно, ответил Натан, ты же умный парень и все понял, еще увидимся и поговорим о поездке, а сейчас, прости, родной, надо бежать в цех, не то эти шиксы такого понашьют, Дорочка, она рядом, велит кланяться...

Фамилия костяного эксперта была вовсе не Костогрыз и не Костоправ.

Мы с Шуркой вышли из лифта на одиннадцатом этаже respectableйшего билдинга, прошли по ковровой дорожке и остановились перед дверью с начищенной, как самовар в московской комиссионке, медной табличкой: доктор Джеймс Р. Костоломофф. Каких таких наук этот доктор, я так и не выяснил, но было полное ощущение, что мы с Шуркой попали не к скелетознатцу, а к дорогому врачу, да что там к врачу, к медицинскому светилу.

Несколько минут мы смущенно топтались в просторной приемной с венецианскими окнами, один вид из которых на Пятую авеню стоил, должно быть, несколько тысяч в месяц. Наконец где-то рядом застучали каблучки, и перед нами предстало столь прекрасное, что я едва не выронил коробку со скелетом. Оно было длинноногое, точеное, снежной белизны зубки сверкали на шоколадном личике, огромные карие глазища с фарфоровыми белками, ресницы, как у Барби. Облаченное во все белое, оно казалось таким чистым и безгрешным, что я просто не мог даже мысленно назвать это со-

вершенное существо женщиной или девушкой. Оно приветливо прощебетало, что доктор нас ждет, Шурка направился к обитым черной кожей дверям докторского кабинета, а я замешкался посреди приемной, потому что не мог оторваться от прекрасного видения: глаза только начинали адаптироваться к этой яркой вспышке, выхватывая очертания груди и бедер под крахмальным медицинским халатиком.

Кажется, я не успел еще окончательно осознать, что передо мной не оно, а она, когда яростное Шуркино шипенье: «Ты что, заснул!» – заставило меня встряхнуться, поудобнее перехватить коробку со скелетом и проследовать в кабинет доктора Джеймса Р. Костоломоффа.

Фамилия доктора оказалась значащей лишь наполовину. Если первая ее часть полностью отвечала профессии владельца, то вторая категорически противоречила его внешнему облику: доктор Костоломофф был маленьким сморщенным старичком с седеньким пухом на голом, покрытом старческими коричневыми пятнами черепе. Впрочем, старичком живым и энергичным.

Когда мы вошли, хозяин ловко выбрался из-за огромного письменного стола, позади которого в застекленных шкафах темного дерева стояли в неестественно развязных позах витринных манекенов пять или шесть скелетов. Он встретил нас посреди кабинета, усадил в глубокие кожаные кресла, протянул ящичек с сигарами (мы с Шуркой, поблагодарив, отказались и засмолили свои сигареты), просеменил к бару и

выудил из него бутылку виски и стаканы. От выпивки мы отказываться не стали и, прихлебывая желтенькое, выслушали историю костоломоффского рода, уходящую в глубины истории российской. Впрочем, обе истории он излагал на английском: прадед эмигрировал в Америку еще в прошлом веке, понятное дело, правнук по-русски не понимал ни бельмеса. Однако этимологию своей фамилии он знал и не без самодовольства тщательно выговорил:

– Ломат коуст... Звучит весьма символично, не так ли, господа?

Господа вежливо согласились, а Шурка, очевидно, решив, что сейчас самое время покончить с формальностями, взял быка за рога.

– Кстати, о костях. Может быть, мы посмотрим наш экземпляр?

– Конечно, конечно. С огромным удовольствием. Мне и самому не терпится посмотреть первый в моей жизни экземпляр из России. Прошу вас, господа, прошу. Я так много слышал о ваших... э-э-э...

Он так и не договорил, о чем так много слышал – о русских ли скелетах или о русских умельцах, которые эти скелеты изготавливают, но всем своим видом изобразил и доброжелательность, и готовность помочь, и полнейшую уверенность, что все обойдется наилучшим образом. Так говаривали у нас старики доктора, которые нынче повывелись: «Ну-с, батенька, что там вас беспокоит? Разоблачайтесь-ка, а мы

вас сейчас послушаем, да-с, послушаем...»

Шурка суетливо развязал коробку, бережно извлек содержимое и вопросительно посмотрел на Костоломоффа.

– Вот сюда, пожалуйста, поближе к свету. Вот так. – («Вот сюда, голубчик, укладывайтесь-ка на кушеточку. Вот так».)

Странное дело. Я видел наш скелет всего лишь третий раз – на шереметьевской таможне, дома у Шурки в день своего приезда и вот сейчас, – но он уже не был для меня ни символом смерти, ни останками еще недавно жившего человека, даже ни учебным пособием. Как бы вам это объяснить? Не то чтобы он теперь казался мне живым существом, нет, до такого бреда я пока не докатился, но все-таки он не был для меня и неодушевленным предметом. Увы, кажется, я так и не сумею передать свои ощущения, свое отношение к этой конструкции из человеческих костей. Тогда скажу проще: с каждой новой встречей мне все больше хотелось назвать его по имени, которое, не помню точно когда, уже всплыло у меня в голове. И сейчас, в дорогом манхэттенском офисе я почему-то твердо знал, что его зовут Геной.

Шурка пристроил его у стены неподалеку от письменного стола хозяина и хозяйских же скелетов в шкафу. Мне почудилось, что они, скелеты-аборигены, смотрят на нашего Гену свысока, хотя тот на голову их выше ростом, а он, Гена, в незнакомом месте и среди незнакомых скелетов слегка тушует, чувствует себя смущенно и неуверенно. Я тряхнул головой, чтобы избавиться от наваждения, и оно исчезло, испа-

рилось: вполне реалистичная мизансцена, правда, в несколько вычурных декорациях. Впрочем, ощущение театра абсурда, в котором я играю отнюдь не последнюю роль, осталось.

Доктор Костоломофф доброжелательно оглядел Гену издали и засеменил к нему, на ходу роясь в карманах. Вот сейчас он извлечет старомодный фонендоскоп, вставит наконечники в заросшие седым пухом старческие уши и прижмет к костлявой груди пациента холодную металлическую блямбу. Однако старичок вытащил из кармана не медицинский прибор, а что-то вроде кронциркуля и стал неторопливо прикладывать его к ребрам и грудной кости. («Дышите глубже, голубчик, а теперь совсем не дышите, вот так, хорошо...») Потом попросил Шурку повернуть скелет задом наперед и опять мерил, раздвигал и сдвигал ножки циркуля, что-то бормоча себе под нос. («А теперь спинку слушаем... дышите... не дышите...»)

Ощупав пальцами и обстукав молоточком череп, ключицы, лопатки, локтевые и коленные суставы, Костоломофф оставил Гену в покое и уселся за свой письменный стол. Мы с Шуркой молча ожидали приговор.

– Ну что ж, господа, вы привезли великолепный экземпляр, прекрасный рост, идеальные пропорции, русские коллеги умеют подобрать материал, этого у них не отнимешь, – с бодрой улыбочкой заговорил старичок. («Вы, голубчик, просто богатырь...») – Мне было в высшей степени приятно еще раз убедиться в том, что на родине моих предков, как и в

прежние времена, живут такие крепкие и здоровые люди...

– Ну вот, а Бобби сомневался. Я же говорил ему, что у меня первосортный товар! – перебил хозяина Шурка. – Я могу ему передать, что все о'кей? Или вы сами позвоните?

– Позвоню, непременно позвоню, – отозвался доктор Костоломофф, делая пометки в настольном календаре.

– Чего откладывать, звоните прямо сейчас. Мы сразу и отвезем... – Шурке явно не терпелось избавиться от Гены.

– Погодите, господа... Вы, молодые, всегда торопитесь, а спешка, поверьте мне, далеко не всегда на пользу дела. Вы, господин Сидорски, до сих пор поставляли нам исключительно костные фрагменты, не так ли? – Шурка кивнул. – К их качеству у нас не было ни малейших претензий. У нас... у нас, русских, хорошие руки.

Мы с Шуркой молча приняли этот комплимент, хотя, если вдуматься, в данных обстоятельствах он прозвучал несколько двусмысленно.

– Сейчас же, если не ошибаюсь, вы представляете нашей фирме свой первый целый скелет, – продолжал доктор Костоломофф. – Это, господа, поверьте мне, совсем иное. Одно дело костный фрагмент, другое – скелет в сборе, который, как вы, надеюсь, помните, состоит ровно из двухсот шести костей. Разумеется, не считая зубов. – Старичок заулыбался, обнажая по-американски безукоризненный ряд фарфоровых фрагментов, предназначенных не столько для пережевывания пищи, сколько для таких вот улыбок.

По правде говоря, я не то что не помнил точное число костей в человеческом скелете, но никогда и не ведал, сколько их там наберется даже приблизительно. Шурка, скорее всего, тоже. Но он теперь наверняка запомнит это число на всю жизнь и потом до конца дней будет им щеголять. Я недооценил Шурку – он начал им щеголять немедленно.

– Простите, доктор, но если уж каждая из двухсот шести костей и косточек у вас не вызывает претензий, то какие могут быть претензии ко всему скелету?

– Замечательно! Вот мы и подошли к самому главному! – обрадовался доктор. – Я не стал бы даже называть это претензиями. Нет, просто некоторые недоработки, столь естественные для первого, пробного экземпляра и столь же легко устранимые. – («Все в порядке, голубчик, ничего, слава Богу, серьезного. Вот пропишем вам микстурку, попьете и будете как новый, мы, батенька, еще на вашей свадьбе погуляем...») – К примеру, только к примеру... – Костоломофф выпрыгнул из-за стола, подбежал к Гене и ткнул пальцем в череп, – обратите внимание на лямбдовидный шов, он немного расходится, это почти не видно, но мы-то с вами, господа, специалисты, мы не имеем права закрывать глаза на мелочи...

Слышать такое было лестно, но ни я, ни – готов поклясться – Шурка не смогли бы найти этот шов даже под угрозой неминуемой гибели. И потому продолжали молча выслушивать костоломоффский диагноз.

– Или вот, посмотрите: трещина на лобной кости, а вот еще одна – на височной. Не стану обсуждать генезис этих небольших повреждений, трудно предположить, что наши русские коллеги испортили столь великолепный материал во время технологической обработки, скорее всего... э-э-э... это прижизненная травма... я не могу исключить...

– Простите, доктор, – вновь перебил старичка Шурка, – криминальные сюжеты здесь просто исключены. Все сделано по закону, на каждый экземпляр мои московские партнеры получают разрешение судебно-медицинского эксперта. Как это по-английски? Коронер?

– Что вы, что вы, я совсем не о том! Происхождение материала нас не интересует, мы не сомневаемся в абсолютной честности своих партнеров, законности всех их действий. Однако подобные мелочи упускать нельзя – качество нашего с вами товара должно быть безукоризненным. – В голосе Костоломоффа внезапно пропали хорошие докторские нотки. – В противном случае... Впрочем, господа, никакого противного случая нет и быть не может. Дефектных экземпляров мы не берем.

– Что же мне теперь с ним делать? – поникшим голосом спросил Шурка. – Выбрасывать?

– Это ваши проблемы, – жестко ответил Костоломофф, он уже снова сидел за столом и перебирал какие-то бумаги. Наступила тяжелая пауза. Похоже, добрый доктор не может сказать ничего утешительного, а мы, близкие безнадёж-

но больного пациента, настолько убиты горем, что тоже не находим слов. Однако старичок внезапно смягчился:

– Не надо вешать носа, господа, все к лучшему. На одном этом, повторяю, великолепном экземпляре мы с вами должны постичь все тонкости нашей совместной работы, которая, я ни минуты не сомневаюсь, продлится долгие годы. Да, господа, у нашего сотрудничества, несомненно, прекрасная перспектива. А сейчас мы сделаем вот что...

Он протянул руку и ткнул пальцем в какую-то кнопку на письменном столе. И тут же распахнулась дверь, и в кабинет вошла она – шоколадная, огромноглазая, в белоснежном одеянии. И я забыл о скелетах, о Шуркином бизнесе, о своем твердом намерении здесь, в Америке, напрочь выбросить из головы все мысли. Об этом.

Любопытнейший, необъясненный, может быть, даже необъяснимый феномен. Готов биться об заклад, девять из десяти российских мужиков репродуктивного возраста, выезжая хотя бы на самый короткий срок за границу, мечтают о любовном приключении, а то и деловито планируют его – уж если не роман, то хотя бы интрижку. Не вульгарное посещение борделя или сеанс массажа на дому, чему тоже, как правило, не суждено сбыться – за это надо платить, а денежки-то считанные, денежек в обрез. Нет, они планируют настоящее приключение, бесплатное, так сказать, по любви, ну как не раз бывало в Сочи или каких-нибудь подмосковных «Елочках».

Мечтать, конечно, не запретишь даже самому себе – самые причудливые эротические фантазии лежат за пределами рационального, но трезвый деловитый расчет здесь более чем смешон. Он нелеп.

Мужикам, с малолетства наслышанным об аморальности и половой распущенности заграницы, мерещится, что заграничные дамы и девы только и грезят о том, как бы улечься под нашенского парня, который не то что обычаев, в том числе и сексуальных, но и языка толком не знает.

Это только красивые слова, будто язык любви интернационален и не нуждается в словарях. Тот, кто берет на себя смелость утверждать подобное, забыл, наверное, как сам часами убалтывал простушку на коктебельском пляже, прежде чем уложить ее в свою скрипучую пансионатскую койку. Нет, язык ухаживания, язык любви, как брачные церемонии оленей, как токование глухаря, полон тонов и полутонов. И коли выхолостить его, лишить красок и нюансов, останется бесцветное «я хотел бы вас видеть голой» – помните, из ильфовских записных книжек?

А наш-то... Он не ведает даже, как звучат на английском или там французском заветные слова, обозначающие прекрасные части женского тела. Какие уж там полутона!

Я столь подробно и столь толково все это изложил, а сам-то, не буду скрывать, где-то глубоко, в подсознании, какие-то надежды питал. Смешные, романтические, пустые. Да, пустые – потому что в скорости после приезда в Штаты я узнал,

что шансов у меня здесь нет. Америка – религиозная страна, понятие «грех прелюбодеяния» здесь отнюдь не абстрактен, это раз. Второе: женщина здесь деловита и самостоятельна, и она тысячу раз подумает, прежде чем спутаться с чужаком, у которого – наша отличительная черта – скверные зубы, смутные представления о личной гигиене и вообще вид довольно помятый. А самое главное – тут смертельно боятся эйдса, будь он трижды неладен.

Узнал я все это не от кого-нибудь, а от людей авторитетных – знатных московских ходоков, которые в эмиграции на собственной шкуре убедились, что здесь не разгуляешься. Сами они, если позволяют средства, время от времени срываются отсюда в Москву, Питер, Киев, Одессу, просто чтобы всласть натрахаться, и возвращаются на свою новую богатую родину, как мартовские коты после недельной свадьбы.

Мораль: лучше и желанней наших баб в мире нет, мы принадлежим им и только им, а заграничным и даром не нужны.

В общем, где родился, там и пригодился.

...И тут распахнулась дверь, и она вошла. И все, тщательно продуманное, разложенное по полочкам, раз и навсегда решенное, вылетело из головы. Осталось одно: непреодолимое желание встать, подойти к ней, дотронуться, взять за руку, увести. Но я оставался в кресле и оцепенело пялился на нее.

Из оцепенения меня вывел голос Костоломоффа:

– Мисс Барбара... э-э-э... Бэб, милочка, будьте добры,

возьмите этот экземпляр, джентльмены привезли его из России. – (Сверкнули белки, махнули ресницы Барби... Она и есть Барби: Барбара, Бэб, Барби, Варя, Варенька... Заинтересованный взгляд. Приоткрылись пухлые губки, зубы – нет, таких не бывает... Улыбка. Мне? Мне!..) – Да, дорогая, не удивляйтесь, из самой России, из Москвы. Джентльмены – наши новые партнеры. Мы будем с ними работать. Да их экземпляр... Подготовьте описание и отметьте дефекты, записывайте... – И пошел чесать на чистейшей латыни.

А она присела на стул около письменного стола, вытащила из кармашка блокнот с ручкой и стала записывать, а я смотрел на ее коленки и выше, благо халатик на ней короче не бывает, короче – это уже не халатик, а что-то другое, черт знает что, и задыхался – впору расстегнуть ворот рубашки, попросить валидол. Она, не отрываясь от блокнота, глянула на меня, заерзала на стуле – вроде бы стараясь припрятать открытое моему блудливому взору, а как припрятать, когда руки заняты, а были бы свободны, такое коротенькое на коленки никак не натянешь, – заерзала на стуле и улыбнулась мне. Мол, все равно от тебя никуда не деться, пялься уж, меня от этого не убудет.

Я почувствовал, как кровь приливает к щекам.

Старичок Костоломофф тем временем закончил перечислять Генины недостатки, их, кстати, набралось изрядное число, и снова перешел на английский.

– Ну вот, господа. Все это ваши мастера без труда по-

правят. И конечно же заменят суставные сочленения. Ваши искусственные суставы, уж вы простите старика, никуда не годятся. Мисс Барбара пришлет вам, господин Сидорски, несколько комплектов суставов, а вы, милочка, не забудьте, наш видеоролик. Так сказать, учебное пособие. Я нисколько не сомневаюсь, что после его просмотра ваша серийная продукция станет безупречной.

Костоломофф вылез из-за стола, мы тоже встали. Он потряс нам руки и проводил до дверей кабинета.

В приемной Бэб заверила Шурку, что рассыльный доставит ему коробку со всеми причиндалами не позднее завтрашнего вечера. Я с Геной под мышкой мешкал, пытаюсь ей что-то сказать, сам не знаю что, но Шурка буквально вытолкнул меня за дверь.

– Кобель, – буркнул он уже в коридоре.

– Какой там кобель, скорее мерин, – мрачно возразил я. – Не тебе, а мне тащить обратно в Москву твои недоделанные кости...

Знаете, в старых немых фильмах встречается титр «в тот же вечер». Он почему-то всегда вызывает у меня смутную тревогу: что же стряется этим вечером?

В тот же вечер мы с Жорой отправились на прогулку.

Обычно я довольно трудно схожусь с людьми, но очень легко с собаками. При первой нашей встрече Жора тщательно меня обнюхал, смерил тяжелым взглядом из-под кусти-

стых бровей, которые, кстати сказать, в Шуркиной семье были постоянным объектом политических шуток, и тут же признал за своего. Мы стали друзьями.

Жора живет у них со щенячьих дней – близнецы подобрали его едва ли не месячным еще на венской перевалке, то ли заблудившегося, то ли брошенного хозяевами, которые вывезли из Союза породистую собаку как валюту, а потом поняли, что много на ней наварить не получится, да и хлопот не оберешься, – таких случаев было немало. Щенок оказался крепкого здоровья и непривередливым в еде, легко перенес все эмигрантские тяготы, а когда пришло время, беззаботно перелетел через океан и, ничуть не обременяя Шурку с домочадцами, вместе с ними помыкался по нью-йоркским квартирам.

Никто им особо не занимался, гулять выводили когда придется и на сколько придется, ни о какой собачьей учебе, понятное дело, не могло быть и речи. Впрочем, кормили Жорку от пуза, и вымахал он в кобелище-гиганта с тяжелой башкой и аспидно-черной блестящей, словно нагуталиненной, шерстью. Разумеется, никому и в голову не пришло вовремя купировать ему уши, а может, и не знали, что ризеншнауцеру это положено. Так что висели они у Жоры тяжелыми лопухами черного атласа, и оттого, наверное, не было в его облике ничего мефистофельского, что отличает ризенов, – напротив, выглядел он парнем простецким, словно его родовая не уходила в глубь десятилетий, а обрывалась на еще

здравствующей где-то в России незамысловатой парочке Бобик – Жучка.

Никем и ничему не ученный, он тем не менее был из тех собак, которые все понимают, только сказать не могут. Жора присутствовал на всех семейных посиделках, любил гостей, но никогда со стола не клянчил, а лежал в сторонке, прислушиваясь к разговору. Близнецы обращались к нему то по-русски, то по-английски, и он одинаково хорошо понимал оба языка, причем не только стандартные команды, но и облеченные в произвольную форму просьбы. Чтобы он улегся, совсем не обязательно было орать «лежать» или «даун», он на такие окрики недоуменно поднимал голову, хотя и делал, что говорят, достаточно было сказать: «Лег бы ты, Жорка, в сторонке, а то всем дорогу загораживаешь» – и он отходил, укладывался поодаль, стараясь при этом ничего не упустить, остаться в гуще событий.

Когда я начинаю рассказывать о полюбившейся мне собаке, а признаться честно, не помню, чтобы невзлюбил хоть одну, то уже не могу остановиться. А остановиться пора. В общем, Жора был псом, с которым на редкость приятно гулять. Этим все сказано.

В этот вечер близнецы припозднились, Рита хлопотала на кухне, а Шурка вообще не любит пешие прогулки. Я кликнул Жору, он был тут как тут с широким брезентовым ошейником в зубах; короче, мы быстро, по-солдатски, собрались и направились к двери.

– Не забудь прихватить с собой деньги, – крикнул Шурка, оторвавшись от телевизионных новостей, – и не забирайся дальше трех блоков направо, там у нас начинается самая чернота.

Это верно. У них в Нью-Йорке границы национальных и расовых поселений проложены на удивление четко, словно прочерчены мелом по асфальту. Переступишь невидимую черту и из итальянской цветистости мгновенно окунешься в атмосферу азиатского лукавства – кругом одни узкоглазые китайские лица; только что мелькали лапсердаки и широкополые черные шляпы над пышными подкрученными за чтением священных книг пейсами, как вдруг оказываешься в Черной Африке.

Шурка жил в белом месте, густая чернота начиналась в каких-то двухстах метрах от его дома без всяких переходов и полутонов. Пересекать границу белого и черного без особой надобности не рекомендовалось.

Мы шли по Шуркиной улице, по здешним меркам небогатой, но чистой, застроенной двухэтажными особнячками с маленькими палисадниками, ну прямо тебе дачное место. Жора трусил впереди, то и дело припадая черным кожаным носиком к земле, вынюхивая следы сук и жирных бруклинских белок – первых он обожал, вторых ненавидел лютой немотивированной ненавистью бытового антисемита. Время от времени он останавливался, чтобы, как орел крыло, вскинуть заднюю лапу и оросить мощной струей аккуратно под-

стриженный кустик. Я следовал за ним и размышлял о природе расизма.

О нравах здешнего черного дна я уже имел кое-какое представление – ужасов наслушался немало. Собственными глазами видел, как ладные полицейские шмонают на улице рядком поставленных лицом к стене черных парней – поднятые вверх руки упираются в шершавый бетон, обтянутые джинсами зады цинично отклячены, на мрачных лицах недобрые усмешки. И все же я симпатизировал этим людям. Сказывалось воспитание, привычные стереотипы: дядя Том, Поль Робсон, великие джазмены и прочее и прочее. Как же так можно – «туда не забирайся, там у нас самая чернота»?! Но, с другой стороны, не испытываю ли я сам, этакий убежденный противник расизма, некоторого раздражения, когда на Черемушкинском рынке меня обступают наши «черные»? И это при том, что у меня есть грузинские, армянские, чеченские друзья и приятели и я прекрасно осведомлен о замечательных чертах кавказских народов. В общем, как любят говорить интеллигентные юдофобы, среди евреев тоже попадаются приличные люди...

И еще, по правде сказать, мне не по душе американский народный обычай – держать при себе десятку на отмазку от уличных наркоманов и пьянчуг. Как-то это не вяжется с образом настоящего американца. Ну представьте себе Чака Норриса, который покорно лезет в карман за десятидолларовой бумажкой и отдает ее вымогателю, счастливый, что лег-

ко отдела́лся.

Однако ради Шуркиного покоя деньги я взял, хотя ни под каким видом никому отдавать не собирался. Впрочем, подумал я, согласно учению Антона Павловича насчет ружья в первом акте, эти деньги должны найти применение, а именно: на них следует немедленно купить выпивку, чтобы в последнем акте, то есть когда мы с Жорой вернемся домой, по-московски посидеть с Шуркой и Ритой на кухне.

Мы прошли до конца нашей чистенькой улицы и свернули направо. Здесь уже дачным поселком и не пахло. Пыльный тротуар, щербатые дома, мусор, довольно тусклое освещение. Впрочем, три-четыре витрины ярко светились: прокат видеофильмов, продуктовый магазинчик «севн-элевн» (то есть работающий с семи утра до одиннадцати вечера, а практически круглосуточно), что-то там еще и «лика-стор» – место торговли спиртным, у нас в дни моей молодости такие места почему-то, уже не помню почему, звали «Голубой Дунай».

Возле бруклинского «Голубого Дуная» топтались с полдюжины чернокожих пареньков лет шестнадцати-семнадцати, угловатые, ломкие, мосластые, словно пятимесячные щенки. Высокие, по щиколотку, кроссовки, огромных размеров пестрые майки, надетые задом наперед бейсбольные кепки. Парни дурачились, подначивали друг друга, приплясывали под гремевший в «Голубом Дунае» магнитофон. И мне их бояться! Если уж от кого ждать неприятностей, то

скорее от тех вон бритоголовых белых парней в коже, что продефилировали по противоположной стороне улицы, окинув нас недобрыми взглядами. А эти – да просто смешливые губошлепы, точь-в-точь наши старшеклассники, только рожи не веснушчатые, а шоколадные. Сами Жору боятся, жмутся в сторонку.

– Ой, ваша собачка не кусается, сэр?

Сейчас спросят, можно ли погладить. Не спросили – и впрямь боятся. Я усадил Жору у входа, зашел в магазин и купил плоскую, в размер заднего кармана штанов, поллитруху джина, и мы двинулись дальше.

Я взял за правило, гуляя с Жорой, всякий раз заворачивать направо: тогда непременно замкнешь прямоугольный маршрут и выйдешь точно к Шуркиному дому, не заблудившись в чужом городе.

Мы миновали еще два блока и повернули направо. И шли теперь по узкому пустынному проезду. Слева – высокая железнодорожная насыпь, по которой уже дважды прогремел городской трейн, и вдоль нее пыльный и захламленный кустарник, справа – глухая бетонная стена, густо расписанная незамысловатыми американскими матюгами. В тусклом свете редких фонарей щербатый бетон напоминал лунную поверхность, на которой шкодливая рука скучающего вдалеке от родной Земли астронавта напылила разноцветными спреями бесчисленные «факи». Авторы непристойных надписей проявили немало изобретательности и эротической

фантазии, можно даже сказать, что выдумкой они не уступали собратьям, расписывающим сортирные стены на необъятных просторах России.

В общем, на редкость киногеничная стена, я еще подумал: вот идеальное место для съемки детектива.

Жора копошился в кустах, а я не спеша двигался вдоль стены; под ногами громко хрустели пластмассовые одноразовые шприцы – то еще местечко!

Три темных силуэта внезапно материализовались в полусотне метрах впереди – вынырнули из темноты между фонарями и стали быстро приближаться. Через несколько секунд я опознал троицу бритоголовых в коже. Еще через несколько секунд они остановились передо мной: в центре – невысокий крепыш с глубоким шрамом на подбородке, я его сразу окрестил коренником, по бокам – ростом повыше пристяжные, безо всяких примет, абсолютно неотличимые друг от друга. У всех троих одинаково пустые светлые глаза, лица неживые, будто обтянутые маской-фантомаской, чулком.

– Привет, – сказал коренник.

– Привет, – машинально ответил я, еще надеясь, что пронесет.

– Угости сигаретой, мужик, – сказал коренник и шагнул ко мне, сокращая дистанцию до вытянутой руки.

Хорошо знакомая, стандартная завязка. Теперь у меня не оставалось никаких сомнений – уже не пронесет. Значит, надо бить первым. Я изготовился, но коренник опередил меня.

Искры в глазах, сильный удар головой о стенку, легкая тошнота, слабость в ногах.

По затылку потекла теплая струйка, но голова оставалась ясной.

Извини, коренник, но это был не удар – просто резкий тычок в лицо, расчет на внезапность, на мгновенное ослепление противника. Если не в кино, если всерьез, так драку не начинают. Надо, чтобы первый удар был и последним. Ты, коренник, пренебрег этой первейшей заповедью уличной драки, не обессудь – теперь мой черед поискать свой шанс.

Мой шанс заключался в том, что я был прижат к стене. Звучит парадоксально, но это так: не было места для маневра, зато прикрыт с тыла и флангов – трое не могли атаковать меня одновременно. А по одному...

Я постигал науку уличной драки в московском дворе середины пятидесятых, когда у нас слыхом не слыхивали о восточных искусствах, но дрались пошибче и искусней любого тибетского монаха. Закреплял и совершенствовал – в маленьком провонявшем потом полуподвале с полом в бурых пятнах крови, пролившейся из наших сопливых носов. «Раз, два, три – в корпус, в головку! Раз, два – в головку! – учил меня серией бывший призер чего-то, обожаемый мальчишками Михалыч. – Не жмурься, пацан, глазки раскрой...»

Многое забылось, ножки и ручки, когда за сорок, уже не те, а вот головка навсегда запомнила: как бы ни было страш-

но, глазки жмурить нельзя.

Коренник двинулся ко мне. Не за сигаретой – чтобы добить. Чувствуя дистанцию до миллиметра, я распрямляюсь на стене и хлестко выбрасываю ногу – в пах ему. Попал. Хорошо попал. Коренник сгибается пополам, и я бы ничего не стоил, если б не добавил ему коленом в лицо.

Он переворачивается и грохается навзничь. Отпал. Считаю одним меньше. Остались двое.

У пристяжного справа от меня в руке клинок – перо, перышко. Держит грамотно, не на отлете, а плотно прижав к бедру. Но в левой руке – левша? А я правее него. И это – мой новый шанс. Оставаясь у стены, я рву дистанцию, делаю полшага влево. Он разворачивается, теряя какие-то доли секунды, и выбрасывает кулак с зажатым пером прямо мне в живот. Успеваю подставить руку. Не совсем удачно – нож скользит по предплечью, однако боли почти не чувствую.

Было бы грамотно, пока он не восстановил равновесие, тут же его достать. Нет, не успеваю. Второй пристяжной – я вижу его боковым, периферийным зрением метрах в трех от стены – вытягивает из кармана и медленно наставляет на меня черный предмет. Ствол. Где он теперь, мой шанс?

Не промахнется. Скажут: убит выстрелом в упор.

(«Мама, где у мужчин упор?» – спросила у моей приятельницы шестилетняя дочка. «Какой там упор? Где ты такого нахваталась?» – «Сейчас по телевизору сказали, дяденьку застрелили в упор...» А где он у меня? Какая теперь разни-

ца! Но стоило ли за этим ехать в Америку? Лучше уж дома. Где тоже нынче неплохо стреляют. В упор.)

Нет у меня никакого шанса. Теперь уже нет. Сейчас из ствола полыхнет. Или не знаю, как это будет, – меня никогда не убивали выстрелом в упор.

Не полыхнуло. Из кустов донесся треск ломаемых ветвей, и тут же на голову пристяжного обрушился черный смерч. Грохнул выстрел, взвизгнула срикошетившая пуля, посыпалась со стены бетонная крошка. И все. А я жив и снова могу оценить диспозицию.

Диспозиция такая. Коренник лежит, где я его положил, и тихо постанывает. Пристяжной с ножом, отчаянно виляя задом, мчится прочь. Второй пристяжной распластался ничком рядом со мной и тянется рукой к картинно лежащей на асфальте пушке. Сделавший свое дело Жора сидит рядом в довольно-таки развязной позе – лапа отставлена, язык наружу – и, кажется, усмехается. Все же пес он добродушнейший, а искусству задержания его никто не учил.

Пальцы пристяжного уже в нескольких сантиметрах от рукояти пистолета. Я делаю короткий прыжок и ногой припечатываю его кисть к асфальту. Он вопит от боли, а я другой ногой отфутболиваю пушку в сторону.

Бой, длившийся от силы полминуты, окончен. Мы с Жорой одержали безоговорочную победу. Что дальше?

Дальше нам не пришлось принимать никаких решений, потому что где-то совсем рядом взвыла сирена и на поле от-

гремевшего боя, бешено мигая маячками, выкатил длинный полицейский автомобиль. Из него выскочили два мужика со свирепыми лицами цвета ночи – и меня повязали: бесцеремонно швырнули мордой на капот, руки в наручниках за спиной – весьма неудобная поза, доложу я вам. Протестовать в такой позе, даже пытаться что-то объяснить – вещь абсолютно невозможная. Я и не протестовал, когда меня грубовато запихнули на заднее сиденье, только попросил, чтобы не бросали на улице Жору.

Спасибо свирепым черным мужикам: запихнув в машину вслед за мной двух моих недавних противников – третий все-таки смылся, – они позволили Жоре примоститься у меня в ногах. В тесноте мы доехали до полицейского участка, а там выяснилось, что у свирепых мужиков на самом деле на редкость добродушные физиономии. Сдавая нас дежурному, они уже разобрались, кто есть кто, – бритоголовых в районе знали.

Минут через сорок меня и Жору с улыбками, шуточками-прибаутками и наилучшими пожеланиями передали из рук в руки примчавшемуся на подмогу Шурке.

Веселые и возбужденные приключением мы отправились домой. Рита заклеила мне пластырем ссадину на затылке и перевязала порезанную руку – все-таки тот меня зацепил здорово. Жоре навалили полную миску американской собачьей жратвы. Потом накрыли стол на кухне. И тут как нельзя кстати пришлась чудом уцелевшая у меня в заднем кармане

фляга с джином. Тысячу раз прав Антон Павлович!

Глава 5

На сей раз целительный нью-йоркский воздух не помог. То ли мы с Шуркой и впрямь перебрали все мыслимые нормы – к моей фляге, понятное дело, было добавлено, и немало, то ли сказались последствия удара о зафаканную бруклинскую стенку, но весь следующий день я провалялся в постели с головной болью. Пытался читать, но быстро уставал и откладывал книгу, глотал аспирин, смотрел какой-то вздор по телевизору, ненадолго задремывал.

Время от времени в спальню, громко топая лапами, забредал Жора – участливо заглядывал мне в глаза, присаживался у изголовья и скорбно вздыхал. Наверное, его надо было вывести, но у меня не было сил подняться.

Ближе к вечеру головная боль поутихла, и я заснул.

Я гнал машину по узким улицам, уворачиваясь от понаставленных с обеих сторон мусорных баков. Машина была совсем новой, только что купленной, и я больше всего на свете боялся замять двери, а сидевшая рядом Барби почему-то тихо плакала, я успокаивал ее, поглаживая правой рукой теплые коленки, и очень хотел ее, хотя знал, что не должен хотеть, а должен убрать руку, чтобы крепче ухватить руль, не то не удержу машину и обдеру двери, но не мог убрать руку, потому что тогда Бэб еще сильнее расплачется, а дорога хуже некуда – сплошные ухабы, словно едешь по терке, тряска

нарастает, того и гляди посыплется трансмиссия...

Шурка так тряс меня за плечо, что у меня голова болталась, как у тряпичной куклы.

– Чего ты... чего ты? Что случилось? – забормотал я, еще не проснувшись.

– Чего-чего! Ну ты, Рэмбо хуев! – орал Шурка, тыча мне под нос какую-то газету. – Национальный герой... Тобой восхищается вся Америка, все бабы твои, а ты дрыхнешь. Вставай, сейчас прилетят из Голливуда подписывать контракт, а ты в одних трусах.

Я откинул одеяло, спустил ноги с койки и взял из Шуркиных рук газету. С фотографии на одной из последних полос «Пост», здешней вечерки, на меня смотрел свирепого вида черный пес, в котором я немедленно узнал Жору; рядом с ним стоял невзрачный плешивый субъект в мешковатых брюках. Глаза субъекта закрыты, словно фотограф подловил его за молитвой. Сразу не опознаешь, но, если внимательно взглядеться, несомненно, ваш покорный слуга.

Вспомнил: в участке нас действительно пару раз шелкнули со вспышкой – я тогда подумал, что это полицейская формальность. И вот нате – мы с Жорой на газетной полосе. Тут же небольшая заметка о бесстрашном русском, который вместе со своей собакой бросил вызов нью-йоркскому преступному миру. Происшествие в общих чертах описано верно, хотя и допущена небольшая промашка – репортер искажил имя главного героя. Но это, скорее, по моей вине: когда де-

журный полицейский попросил написать кличку собаки, я машинально сделал это русскими буквами. И в результате получилось вот что: не Жора, а Жопа. Впрочем, американскому читателю все едино.

Мы еще весело ржали по поводу этой мелкой накладки и наперебой окликали ничего не понимающего пса его новым, газетным именем, как зазвонил телефон. И потом уже звонил не переставая.

Я и не подозревал, сколько у меня уже завелось знакомых в Нью-Йорке. Звонили Шуркины подельцы по его прежним неудачным начинаниям в бизнесе, звонил черный проповедник, с которым я раскланивался на платформе сабвея (Благослови тебя Бог, сын мой!), звонили из гастролировавшего в Нью-Йорке какого-то провинциального российского цирка, из корпункта московской молодежной газеты (Ох, молодец, старичок, уделал их, знай наших!), дал о себе знать даже дедуля Костоломофф.

Ровно в восемь позвонил Натан. Трубку снял Шурка, с минуту сосредоточенно слушал, время от времени согласно кивая головой, потом молча передал трубку мне.

– Поздравляю, поздравляем тебя, родной! – восторженно пищал Натан. – Честно тебе признаться, мы с Дорочкой поначалу подумали, что ты немного шлемазл. Ты знаешь, что такое шлемазл?

Я сказал, что знаю, кто такой шлемазл.

– Поверь мне, Натан разбирается в людях. Но на этот раз

Натан ошибся. Как говорят, на всякую старуху... Извини меня, дорогой! Ты оказался настоящим героем. Я бы для тебя звезды не пожалел, ха-ха-ха... Но я не цэка, у меня лишних побрякушек нет, так, кое-какие цацки у Дорочки, э-хе-хе... Ты сделал нам всем прямо-таки праздник. Очень тебя прошу приехать к нам на скромный субботний ужин.

Мне не хотелось выходить из дома, голова еще давала о себе знать, но устоять перед напором Натана было невозможно.

– И не вздумай отказываться, ты нас очень обидишь. И еще одну особу, которая просто тобою восхищается и очень хочет сказать тебе лично свое восхищение... Так ты приедешь? Я за тобой человека послал. Ждем тебя, родной.

Одеваясь, я гадал, что за особа мечтает выразить свое восхищение моим подвигом. Должно быть, Дорина подружка, одна из грудастых, без малейших признаков талии брайтонских матрон, которых я вытанцовывал в ресторане на дне рождения Натана. Так что меня, безусловно, ждет увлекательнейшее романтическое приключение.

В дверь позвонили, на пороге стоял Натанов охранник Олег.

Мы ехали на Лонг-Бич в черной спортивной машине, длинной, приземистой и донельзя роскошной внутри. Скорость не ощущалась, хотя, скосив глаза на спидометр, я отмечал, что стрелка порой упиралась в сотню – миль, разумеется, а не наших коротеньких километров. Я смотрел в окно,

за которым мелькал океанский берег, и размышлял об иронии судьбы: это надо же — еду напрямиком в логово еврейского крестного отца, поселившегося в тех же местах, где некогда жил со своими домочадцами сам Дон Корлеоне.

Олег всю дорогу не раскрыл рта, только в самом конце пути спросил, какой пистолет был у моих вчерашних обидчиков — ну хотя бы какого калибра. Я смущенно ответил, что не рассмотрел, не до того было, да и вообще, я в этом деле несведущ. Олег еще плотнее сжал губы, мне показалось — даже несколько презрительно, и больше не произнес ни слова. Да и о чем говорить с человеком, оказавшимся профаном в единственном на свете стоящем деле?

Особняк Натана, двухэтажный, благородно темно-коричневый, сложенный из неправильной формы камня, стоял на взгорке, к улице от него полого спускался ухоженный газон.

Натан встретил меня на мраморном крыльце и, обняв за плечи, повел в дом, потом из просторного вестибюля по широкой деревянной лестнице на второй этаж. Я отнюдь не специалист по интерьеру, но обстановочка в Натановом доме не могла не вызывать улыбки. Большая комната, скорее даже зала, куда он меня привел, — то ли гостиная, то ли столовая, — была обставлена дорогой современной мебелью не без налета техно, но тут же громоздилась явно привезенная из Энка-Шменска горка, а рядом с кожаными креслами помещались яркие шелковые пуфики. На стенах между купленными чохом абстракциями висели русские березки под Леви-

тана, не было разве что рыночных лебедей. Готов биться об заклад, в спальне должен был стоять белый египетский брачный комбайн – советская греза семидесятых годов. Впрочем, это мои домыслы – в спальню меня не водили.

Появилась Дора, по-матерински расцеловала меня и принялась собирать на стол. Она выбегала на кухню, возвращалась с блюдами и горшочками, снова убегала, но старалась не упустить ни слова из моего рассказа, всплескивала руками, ахала и охала. А я, возбужденный ее и Натана восхищением, вспоминал все новые подробности и, боюсь, не избежал при этом некоторой гиперболизации собственной доблести.

– Нет, он настоящий герой! – выкрикивал Натан тонким голосом, подбегая ко мне со стаканом виски и демонстративно ощупывая мои бицепсы. – Нет, ты только потрогай, Дорочка, это же сталь, настоящая сталь, чтоб я был так здоров. Нет, ты подумай, он же был на волосок от смерти. Будь на его месте другой, не такой молодец – и все кончено. Как у нас говорили, поздно, Фира, пить кефир. А он! Одного уложил, второго...

Отужинали мы втроем – таинственная особа так и не объявилась, и, пока сидели за столом, Натан не устал восхищаться моими подвигами, задавал бесчисленные вопросы, переспрашивал и снова восхищался. Признаться, мне это было приятно, хотя в восторгах Натана я и улавливал некоторую фальшь.

– Дорочка, ты нас извини, – сказал Натан, когда мы по-

кончили с десертом. – По субботам о делах не говорят, но у меня с нашим дорогим гостем есть небольшой мужской разговор.

Мы перебрались в кабинет, и тут Натан мгновенно переменялся.

– А теперь, сынок, давай оставим эти майсы для баб. Мне вся история от начала до конца не нравится. Ты сам-то что об этом думаешь?

Я проямлил что-то о мелком хулиганье, которого и в России не счесть, мол, мне не впервой, и не так страшен черт. Но Натан резко перебил меня:

– Оставь. Все это холыймес. Мои ребята тех парней знают. Таких, как ты, они не чистят – с тебя взять нечего. А если бы думали мочить, будь уверен, замочили – и пикнуть бы не успел. Профи, не голодранцы какие-нибудь.

– Когда б не Жора, и замочили бы, – робко возразил я. Натан сухо рассмеялся:

– Не будь поцем. Когда хотят прибрать, закурить не просят. Шмаляют из пушки с глушаком, а потом – контроль в затылок. И здесь так работают, и там, у нас. У вас, – поправился Натан. – Ладно. С этим все ясно. Пугнуть хотели, не иначе. Кто хотел? Зачем хотел? Алик! Гриша!

В дверях кабинета в тот же миг появились Олег и Грегор.

– Ну что? – коротко спросил Натан.

– Сегодня утром их выпустили, – доложил Олег.

– А ствол? Пушка какая?

– Какая там пушка, Натан Семенович! Пугач, пукалка двадцать второго калибра. Осталась в участке.

– Вот видишь, – обернулся ко мне Натан. – Слышишь, что мальчишки говорят? Двадцать второго калибра!

– Мне бы и двадцать второго хватило, – сказал я, еще не понимая что к чему, но уже чувствуя полный крах своей героической истории. – Не на кабана небось шли.

До сих пор приземистый мрачноватый Грегор не произнес ни слова, он вообще не производил впечатление говоруна, но полное непонимание очевидного, должно быть, потрясло и его.

– О чем говоришь, дорогой! Какой кабан? Почему кабан? Люди хорошо работают, хорошим оружием работают. – В голосе Грегора зазвучали уважительные нотки. – Они в игрушки не играют. Почему не понимаешь?

– Успокойся, Григорий, что ты пенишься, как «жигулевское», – прервал его Натан. – Наш гость не по этому делу.

– Прости, хозяин, – мрачно сказал Грегор и плотно сжал губы, словно давая клятву никогда больше не раскрывать рта.

– Последние контакты проверили? – спросил Натан, обращаясь к Олегу.

Тот кивнул.

– Италияшки?

– Молчат как рыба об лед.

Теперь согласно кивнул Натан. Я же не понимал ровным

счетом ничего. И Натан немедля дал знать, что мне понимать нечего.

– Ладно, сынок, не держи в голове, не отравляй себе отдых. Сколько тебе здесь осталось? Неделя? Вот и отдыхай, кушай, пей, имей свое удовольствие и не думай о глупостях. А Натан за всем остальным присмотрит.

Он сделал знак бодигардам, и они исчезли.

Натан в задумчивости, я таким его еще не видел, прошелся по кабинету, подошел ко мне и, привстав на цыпочки, обнял за плечи.

– Вот так и живем. Это тебе, сынок, не Союз, тут крутиться надо, много думать надо, каждый день загадки отгадывать. – Мне показалось, что Натан говорит это не мне, а самому себе, оттого и неожиданно искренний, исповедальный тон, усталость в голосе, даже какие-то жалостливые нотки, столь несвойственные, как мне думалось, этому разбойнику. – Ой-вэй! Здесь платить надо, там платить надо, здесь надо договориться, там надо договориться, а если недоглядишь... Я дома, в нашем с тобой Энске-Шменске, все делал этой вот аидише головой. – Он постучал коротким пальцем по лысине. – Никакой мокрятины. Пусть в это играют гои, у Натана хватит мозгов все улаживать без пальбы, так я говорил и так делал. Как-то в Одессе был, предложили на базаре «макара». Я взял и купил – пусть, думаю, будет. Так он десять лет в комодке пролежал под Дориными лифчиками. А здесь у меня, смотри, хватит на взвод спецназа.

Исповедь усталого пожилого цеховика закончилась так же внезапно, как и началась. Натан бодро просеменил по кабинету, подлетел к сейфовой двери в стене под небольшим штормовым пейзажем, должно быть, тем самым – то ли Айвазовский, то ли нет, и стал возиться с кодовым замком. Наконец замок поддался, Натан широко распахнул дверь и с торжествующим видом встал рядом.

Это был не сейф, а целая комната, или, если хотите, большой бронированный чулан. Две его стены занимал стеллаж, плотно заставленный инструментами для быстрого и рационального проделывания (просверливания, прожигания?) дырок в человеческом теле.

Если бы я хотел порисоваться, если бы мечтал прослать знатоком, то непременно сказал бы: вот это «люгер», вот это «беретта», вот это «магнум». Но я (увы или слава Богу – не знаю) не смыслю в огнестрельном оружии ни бельмеса. Скажу только, что Натанова коллекция впечатляла. Жирно поблескивали на полках вороненые и хромированные, длинные и короткие стволы и стволища, просились в руку ухватистые, покрытые хитрыми насечками рукояти. Этот натюрморт довершали снаряженные пистолетные и карабинные обоймы, автоматные рожки, увенчанные остроконечными и тупоголовыми пулями разнокалиберные патроны россыпью, ремни, портупей, кобуры и прочая оружейная кожгалантерея. Пахло ухоженным металлом, машинным маслом, ненадеванной кожей, немного порохом.

— Ну как тебе, мой мальчик, это нравится? — Видно было, что самому Натану нравится, и очень. И сама коллекция, и возможность продемонстрировать ее гостю, и естественный восторг, который она у гостя вызовет. — Что скажешь, оружейная палата, а? Теперь ты понимаешь, почему с Натаном шутки плохи? Нет, ты только посмотри на эту дулю! — Натан выхватил с полки какой-то особенно массивный пистолетище и принялся любовно оглаживать тяжелый вороненый ствол. — Слона уложит, а всего-то шума, будто карлик пукнул. — Натан на секунду замолчал, словно прикидывая, как громко пукают карлики, и для убедительности добавил: — За стенкой.

Но меня уже не интересовала любовно собранная Натаном оружейная палата, не интересовали слоны и физиологические отправления карликов, мой взгляд был прикован совсем к другому.

Третья стена чулана, гладкая, беленая, была пуста, возле нее стоял высокий, ростом с Шуркиного Гену, скелет. Слева у него на ребрах сверкали подвешенные рядышком две золотые геройские звезды.

Натан перехватил мой взгляд. Косой глаз внезапно вспыхнул уже знакомой мне злобой.

— А-а-а... этот... Это наш с тобой дружок, этот большой балабус с шинного, чтоб ему было неладно. Узнал поганца? Я промолчал.

— Что, непохож? Ничего, будет похож. Пока только цацки

похожи, потому что не фуффло, а настоящие. Велел купить там, на барахолке. Задорого купил, денег не пожалел. Натан за настоящее хорошо платит, ни рублей, ни зелени никогда не жалеет.

Я поднял глаза на сомнительного Айвазовского, вспомнил левитановские пейзажи в столовой, но тут же подумал: на чем, на чем, а уж на золотишке Натан ни в жизнь не проколется. Звезды были самые что ни на есть настоящие.

– Как это у вас говорят, – визгливо продолжал Натан, – бюст на родине героя, а? Пусть пока стоит на родине, в скверу. Будет время, будут деньги – а куда они денутся? – сюда перенесем, на новую родину. На стол себе поставлю. – Натан оглядел письменный стол, словно выбирая место для бюста. – Или в цеху. Еще не знаю, надо с Дорочкой посоветоваться. А потом и самого привезу. В деревянном ящике. От Натана не уйдешь, не спрячешься. Он как думал? Уехал Натан в Израиль – и отрезано, концы в воду. Можно и дальше гулять, на заседаниях сидеть, в распределителе отовариваться. Все, мол, забыто. Никто не забыт, ничто не забыто.

Это кощунство так комично прозвучало в устах Натана, что я невольно улыбнулся.

– Я тебе ничего смешного пока не сказал, – одернул меня Натан. – У Натана хорошая память. Натан все помнит, и плохое, и хорошее. И не смейся. Сказал, привезу его в деревянном ящике, и привезу. Тогда-то и спрошу его: что же ты, Боренька, сделал? Пока хавал и пил на халяву, девок щупал

на обкомовской даче да парнусу имел с моего цеха, старик Натан был нужен, дружить с Натаном было не запаadlo, ходить домой к Натану, брать бабки у Натана было не запаadlo, а как Натан стал не нужен, так на нары Натана...

Картина начинала проясняться. Непонятно было только, что за Борька и какое он имеет отношение к бывшему моему герою, знатному сборщику шин Степану Крутых. Или я с самого начала все перепутал?

– Простите, Натан Семенович, а кто такой Борька? – спросил я.

– Не знаешь? А должен знать. Писатель! Ты когда в газетах о нем, герое, хуйню нес, дома-то у него был?

Я кивнул.

– Во! Большой двор на Ленинском помнишь? Мы с ним оба с того двора. Только я после второй ходки туда не вернулся, обратно не прописали, а он там еще долго жил и после тебя, пока в «дворянском гнезде» не дали квартиру мерзавцу. Мы с ним одной битой в расшибец играли – первые свои медные гроши зарабатывали, вместе чеканочку до грижи колотили. У меня кликуха была Косой, а у него – Борька. У нас такая присказка была: Боря это Брохес, а Брохес это тохес, а тохес это жопа, а жопа это Степа. Не слышал? Ну вот, потому он и Борька. Через тохес.

Картинки детства на Ленинском, расшибец и чека-ночка, приставшие на всю жизнь невинные мальчишеские кликухи – все это, должно быть, смягчило Натана, охладило его гнев.

Он неторопливо затворил дверь своей оружейно-скелетной палаты, набрал код, прикрывая от меня замок плечом, и повернул ключ.

Мы помолчали. Не знаю, о чем думал Натан, но мне после его обещаний привезти сюда Борьку-Степу в деревянном ящике стало здорово не по себе. Он командирует меня в Энск и даже выдал под отчет командировочные, которые я с легким сердцем принял. Теперь предстоит ехать. Зачем? Может быть, как раз на меня и возложена приятная миссия уложить Степана Крутых в этот самый деревянный ящик, забить его гвоздями и послать малой скоростью в Нью-Йорк?

Извините, Натан Семенович, как вы сами верно заметили, я не по этому делу. Крутых меня на нары не сажал и вообще не сделал мне ничего дурного, более того, о встречах с ним у меня сохранились самые лучшие воспоминания. Есть люди, попившие у меня и моих друзей немало кровушки, – тот же Владлен, наш издательский гэбэшник, – добра я им не желаю, но укладывать собственноручно в ящик не собираюсь. Не мое это. Если Натан в чем-то на меня рассчитывает, в наши отношения надо внести полную ясность.

– Скажите, Натан Семенович, – спросил я, – что я должен сделать для вас в Энске? Надеюсь, это никак не связано с вашими... э-э-э... старыми счетами со Степаном? В противном случае я...

– Ах, как умно, дорогой, ты изъясняешься! Старые счета... В противном случае... Одно слово – писатель. За ко-

го ты меня принимаешь! Сейчас старик Натан напишет тебе задание, цель командировки – замочить Степана Сидорыча Крутых. Об исполнении доложить!

Забавно: мысль о командировке пришла нам в голову обоим.

– Такое надо придумать! Ты больше Натана слушай, я со зла чего не наговорю. Мне этот хазер и на хер не нужен, пусть живет себе, свинья трепная, пока сам не сдохнет от белой горячки. – Натан снова стал заводиться. – А если надо будет кого прибрать, разве мне придет в голову, чтобы ты, мой гость, родной мне уже человек, руки пачкал, рисковал, время свое дорогое на всякую мразь тратил. У меня на эти дела очередь желающих стоит, только свистни. Так что выкинь из головы, у меня и в мыслях такого не было, клянусь тебе афбене мунес.

Натан сделал страшные глаза и приложил короткопалую ручонку к груди.

– Но тогда, быть может, вы расскажете мне, в чем же состоит мое дело в Энске. Ну хотя бы в общих чертах.

– Ай, пустяки! Кой-какие бумажонки собрать – там, здесь, собес-шмобес, я знаю...

Наверное, я бы все-таки вытянул из Натана какие-нибудь подробности предстоящей командировки, но в этот момент в дверь постучали, и, словно слуга в старой пьесе, вошел Грегор.

– Она приехала, хозяин.

– Пусть зайдет.

Грегор распахнул дверь и, посторонившись, впустил в комнату Барбару.

Глава 6

– А, поздняя птичка, наконец-то! – завопил Натан, переходя на английский (жуткий английский, немислимый английский, я бы сказал, энский-шменский диалект этого довольно распространенного языка). – А мы тебя заждались, милочка, мальчик прямо-таки извелся. Я ему обещал встречу с очаровательной особой, которая по нему сохнет, а особы все нет и нет. Где тебя черти носят, проблядушка черно-мазая?

Последние слова Натан произнес по-русски, но по выражению лица Барбары можно было заключить, что она не впервые слышит такое обращение, знает смысл этих слов и, понимая их шуточный оттенок, вовсе не обижается.

Она подошла к нам легкой вызывающей походкой манекенщицы и остановилась рядом с Натаном.

– Я же тебе говорила, Нат, что приеду прямо с занятий.

– Пошла ты в тохес со своими занятиями. Твое занятие – в койке кувираться, – с нарочитой свирепостью произнес Натан и с размаху звонко шлепнул Барби по обтянутой линялыми джинсами попке.

– Ах так! Ты еще будешь лапы распускать, старый козел! – Она молниеносно выбросила руку с растопыренными пальцами прямо в лицо Натану, как бы намереваясь в отместку за шлепок выколоть ему глаза.

Обменявшись привычными, похоже, шутками, они расходатались.

Отсмеявшись, Барбара аккуратно промокнула платочком глаза, оглядела себя в зеркальце и только после этого посмотрела в мою сторону.

– Добрый вечер, сэр, извините за опоздание.

Я что-то залепетал в ответ, но Натан прервал меня:

– Слушай, милка, какой он тебе на хрен сэр. Свой парень в доску, мой друг, мой гость дорогой. Вот что, дети, не выпендривайтесь и зовите друг друга по имени. А сейчас пошли чай пить.

– Прости, Нат, но я только на минутку, – сказала Барбара. – Еле живая, с семи утра на ногах. Как-нибудь в другой раз посидим.

Натан посмотрел на часы.

– Ого! Двенадцатый час, а мне в шесть вставать. Ладно, милка, езжай, Бог с тобой. Слушай, а ты гостя в Бруклин не подбросишь? Чтоб мне Алика ночью не гонять. Ну спасибо, моя сладкая, Натан, как всегда, твой должник. Езжайте, дети, с Богом...

И старый сводник так откровенно и недвусмысленно подмигнул Барби, что до меня дошло наконец, что все заранее было спланировано и рассчитано – и ее позднее появление в доме Натана, и его неожиданная просьба к ней подкинуть меня домой, что эта девушка, которую я так хочу, которая уже являлась ко мне во сне, не что иное, как еще один знак

внимания Натана, дополнение к тысяче зеленых, полученных мною за будущие услуги. Я понимал, что у меня еще остается небольшой шанс выплюнуть наживку, но не смог устоять перед соблазном и заглотил ее.

У Барби была двухдверная крошка «хонда», карамельно ярко-красная, как ноготки ее хозяйки. Тихо играло радио, она постукивала этими ноготками в такт по баранке, и мне хотелось взять их в рот и сосать, как карамельку. Я даже ощущал во рту их кисло-сладкий освежающий вкус.

А вот о чем говорить, я не знал. Тяжелая, тупая застенчивость, замораживающая язык, словно только что вырвали зуб. У меня такое уже раз было – сто лет назад, в студенческие годы.

Мы с приятелем вернулись с двухмесячного армейского сбора и, едва отмокнув в ванне, двинули в парк культуры за кадрами. Нам сразу повезло – склеили двух длинноногих девчонок в юбках-колокольчиках чуть пониже трусов, так тогда ходили. Вернее, повезло ему, склеил он, а я, как и сейчас, не мог рта раскрыть и молча плелся за ними по аллее, остро завидуя приятелю и лихорадочно соображая, как вклиниться в разговор, чтобы не быть лишним на этом празднике жизни. Я так ничего и не придумал, но набрался храбрости, забежал вперед и, заискивающе заглядывая в девчоночьи глазки, выпалил: «А вы читали книжку?...» Какую книжку, я так и не придумал, потому что в те дни ничего читать не мог – одно было в голове. Но ничего, сработало, меня при-

няли в разговор, а потом приняли вообще. Вот такая была история.

Барби сосредоточенно смотрела на дорогу, у нее и впрямь был усталый вид. Где она, моя спасительная «книжка»? Позвольте закурить. Курите – она вдавила в панель кнопку прикуривателя. Что за занятия задержали ее? Нью-Йоркский университет, антропология. Ага, и тут кости, и там кости – так сказать, по специальности. Да, в этом смысле ей определенно повезло. (Кажется, потихоньку пошло.) А в чем не везет? Ну, знаете... (Так я тебе все и выложила.) С Натаном знакомы давно? Не очень, у хозяина с ним дела всего полгода. Забавный старикан, да? Который – Натан или Джеймс? Пожалуй, оба. Угу...

Я исчерпал все ходы. Других «книжек» у меня не осталось.

«Хонда» внезапно остановилась – я узнал дом Шурки.

Надо было благодарить, прощаться и вылезать из машины. Я медлил. Барби молча смотрела перед собой.

– Давай выкурим по сигарете, и я пойду, – предложил я.

Мы закурили и продолжали молчать. Когда моя кэмелина догорела до фильтра, я швырнул бычок в окно и обреченно взялся за ручку двери. Барбара, аккуратно придавив свой окурочок в пепельнице, повернулась ко мне.

– Бога ради, прости меня за сегодняшнее. Я правда очень устала. Если хочешь... Если хочешь, встретимся завтра. Ладно? – И она легонько-легонько коснулась кончиками

пальцев моей заросшей щеки. – Ты позвонишь?

Я завязывал галстук перед зеркалом, а Шурка, ехидно улыбаясь, наблюдал за моими приготовлениями.

– Хорош невозможно! И галстук в тон, под цвет глаз.

Шурка был прав: галстук из его гардероба я почему-то выбрал красноватых тонов, и глаза у меня почему-то были красные – то ли и впрямь перебирал в последние дни, то ли просто переволновался.

– Но я бы на твоём месте непременно ещё раз побрился, – продолжал издеваться Шурка. – Когда идёшь на свидание с такой чистой, целомудренной девушкой, я бы сказал, с цветом благоуханным... Станешь ей цветы преподносить, ручку целовать и ненароком между ног небритой щекой оцарапаешь.

И тут его ирония была небеспочвенной: я только что второй раз за день побрился – моя не такая уж нежная кожа плохо перенесла внерегламентный уход, щеки и подбородок были покрыты мелкими кровоточащими порезами. Впрочем, иронизировать Шурке уже надоело – он перешел к прямым оценкам моего, как он считал, абсолютно неадекватного поведения.

– Ну ты и мудила, однако! Упал на первую смазливую рожу. На кой хрен тебе сдалась эта черножопая, скажи на милость? Коли уж Натан её под тебя подкладывает, значит, там и впрямь пробу некуда ставить.

– А мне плевать, мне очень хочется... – пропел я, пытаюсь отшутиться, хотя Шурка, по правде говоря, меня уже изрядно достал.

– Хочется – перехочется, – упорствовал Шурка. – Через несколько дней уезжаешь, неизвестно, когда теперь снова увидимся, мог бы и с нами посидеть. А уж коли так подперло, я тебе по телефону такую кралю вызвоню, пальчики оближешь. Хочешь черную, хочешь белую, как молочный поросенок, хочешь желтую, что твоя болезнь Боткина. Хоть в клеточку. Сама сюда приедет, чистенькая, подмышки выбриты, пахнет дезодорантом, аккуратненькая, – отсосет, все сделает как надо. В сотню уложимся – плачу я.

Должно быть, Рита слышала весь наш разговор и наконец не выдержала. Из кухни раздался ее зычный окрик:

– А ну прекрати! Чтоб я такого больше не слышала! – Она появилась в дверях, вытирая руки о фартук. – Ну чего пристал к человеку? Уж если девка ему так приглянулась...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.